



ВЛАДИМИР
БАГРАМОВ

ЖУРАВЛЁВКА

Владимир БАГРАМОВ

ЖУРАВЛЁВКА

Роман

ЦВЕТЫ НА БОЛОТЕ

Повесть

ТАШКЕНТ
«УЗБЕКИСТАН»
2014

УДК: 821.512.133
ББК 84(2Рос-Рус)6
Б 14 Ё

Баграмов Владимир Игоревич
Б 14 Журавлёвка: роман / В.И. Баграмов. – Ташкент:
Узбекистан, 2014. – 216 с.

ISBN 978-9943-28-010-6

Предлагаемый читателю роман «Журавлёвка» удивительно интересен тем, что окунает читателя с первых страниц в эпоху военных и послевоенных лет Второй мировой войны, заставляя остро сопереживать неслегка, подчас трагическим судьбам героев.

Персонажи романа выписаны автором цельными и яркими личностями, они отважны, смелы, великодушны. Герои на войне, а в повседневной жизни простые и открытые люди, которые не могут равнодушно пройти, когда рядом происходит несправедливое дело или преступление, в открытую выходят с ними в бой, побеждая их ценой собственной жизни. Книга заставляет читателя заглянуть в прошлое и извлечь уроки мужества и героизма людей, любящих свою Родину.

Повесть «Цветы на болоте» рассказывает о простых людях, их доброте к этому миру, но среди них затаилось Зло. Суть повести в том, что добрые и чистые душой люди с трудом искореняют это Зло, которое страшнее всяких мифических духов – обитателей лесов и болот.

УДК: 821.512.133
ББК 84(2Рос-Рус)6

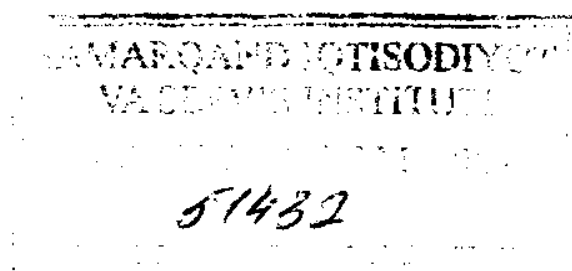
ISBN 978-9943-28-010-6

© ИПТД «УЗБЕКИСТАН», 2014



ЖУРАВЛЁВКА

Роман



*Прабабушке Матрене Максимовне
Баграмовой, светлomu истоку
хлопотливо-шалъного рода нашего,
посвящаю.*

Автор

ЧАСТЬ I

Розовая цакипь умирающего заката дымилась в его волосах.

По столу тянулись тени от лампы. Чугунная змея-пепельница дразнила раздвоенным языком, проглатывая окурки. Статуэтка Дон Кихота на подоконнике выдерживала из ножен заржавленную шпагу, а глаз лимона мигал из чашки, и серебряная ложечка трамвая вызванивала поздний час.

Под окнами ходил ноябрь, с грохотом пинал водостоки и сметал вороха листьев колючим ветром.

— Что ты знаешь о войне, мальчик?

Из-за стекол очков на меня глянули жерла печей Освенцима. Коричневая шея, орлиный нос, большой кадык под задранным подбородком...

Густая кровь медленно пульсировала в венах, набухшие узлы то наливались тяжелым, коричневым цветом, то голубели под истонченной от времени кожей.

— Сердце злого каменеет в ненависти, сердце доброго расплзается по швам совести. Примерно так говорил мой дед, старый еврей, который всю жизнь шил костюмы кому угодно, но лег в гроб в соседских шароварах. Единственные брюки унесли вместе с веревкой, на которой они сушились. Ты знаешь о войне по книгам и фильмам, а что делать мне?

Фотографии потрескивали, свивались трубками. Учитель передвигал их по столу сухой, как птичья лапка, рукой.

— Брат, ему было бы шестьдесят восемь, играл за шахматную сборную Киева. Его последняя партия была с фашистским переводчиком, который «зевнул» коня — Рувима отправили в лагерь. Над его пеплом горит огонь и ходят люди. Я же теперь не могу видеть струящийся дым из трубы, даже если он исходит от фабрики детских игрушек.

Тонкогубый юноша со лбом Сократа и плечами легочника копал яму для саженца. С лопаты вечной стружкой сыпалась земля.

— Ночами я остаюсь наедине с ними, — он кивнул на фотографии. — Жену и дочь убило фугасом, я не знаю, где их могила. Сестра лежит в Бабьем Яре, по ночам я слышу ее крик. Этот век старше меня на два месяца, дай Бог успеть увидеть, как люди будут хоронить атомную бомбу! Ты улыбаешься про то, что я сошел с ума? Меня не станет, и ты вспомнишь старого учителя. В моем возрасте думают о душе, но в Бога я не верю. Если Он есть, ему нет смысла заботиться о людях, у него впереди вечность, нам в ней отказано. В следующий раз расскажу тебе о собаке с разноцветными глазами. Она ела яблоки, а мой дед сшил ей жилетку и штаны.

Учитель тронул сухими пальцами фигурку Дон Кихота на подоконнике, идалго качнулся, тихо звякнула его потемневшая шпага.

С фотографии улыбался портной, дед Учителя, ушедший из жизни в соседских шароварах. Рядом испуганно цурилась бабка, ей удалось пережить мужа на пять погромов. Тисненая виньетка с потертой надписью внизу картонки: «Макс Циммерман — фото художественное и гражданское».

— Ты собираешься писать, но никто не знает, как это делается. Сердце само находит стиль и форму. погоди, я проглочу лекарство.

Капли прыгали в рюмку — Учителя мучила астма.

Для этого человека на всей огромной земле не хватало воздуха. Приходилось занимать его в аптеке. Вот и сейчас в углу дивана черной лягушкой растопырилась кислородная подушка.

Ноябрь устал сгребать листья, встал под окнами, тихо барабанил в переплеты худыми пальцами дождя.

Я приехал через год. Два месяца назад мне сообщили, что Учитель умер.

Гулкая лестница стократно отзывалась на каждый мой шаг, серые тени скользили вдогонку.

На обшарпанной двери осталась табличка — медная планка на двух винтах: «Я.А.Перельман 5 звонков». Свежая царапина пересекала наискось планку, кто-то пытался ее снять, но старые винты были утоплены в дубовую дверь на века. Под планкой зеленью меди матово выступала вертушка дореволюционного звонка.

Можно теперь поворачивать вертушку до тех пор, пока голос дребезжащего коммунального вестника не долетит до самых дальних звезд и вернется оттуда на землю гулким, печальным эхом...

Долго и пусто смотрел я на старую дверь.

Потом шел сквозь залитый солнцем и снежной белизной день до тех пор, пока не унялась, не растаяла под горлом зыбкая дрожь, сводящая каменно скулы у сорокалетних мужчин, не умеющих плакать.

Земля, чья тяжелая плоть призвана рожать, впитывала в себя тела детей своих — недолгоживших и недопевших, великих и незаметных, гениальных и юродивых, отсчитывающих на ней последние метры и ковыляющих первые шаги.

Люди мало говорили.

Кривые троны военного лихолетья выводили их на прямую поступка. Он стал средством существования и поставил болтовню вне закона. Никакими парадными фразами нельзя было прикрыть суть человеческую, спрятать ее от пытливого глаза.

Страна тянула ляжку величайшей из войн на земле. Война входила в затяжную, самую жестокую фазу, когда на смену жадной ярости нападающих и боли отчаяния защищающихся, приходит обоюдная, черная, как клубящийся омут, не знающая покоя и просвета — ненависть.

Лежали втроем, метрах в ста от железнодорожного полотна, когда из-за поворота вылетела мотодрезина.

Немцы надсадно и весело орали песню. Здоровый фриц на краю дрезины, свесив ноги, голосил громче всех и размахивал в такт руками, автомат на его груди выглядел игрушечным. Вот из этого автомата и резанул он по заснеженным кустам, потом по кромке недалекого леса.

Посыпались сбитые ветки, брызнул снег.

Капитан по-детски икнул, несистово застучал ногами. Лежавший рядом Пенкин, что есть силы, прижал капитанские ноги, одновременно наползая плечами ему на спину. Капитан через несколько секунд затих. Дрезина с орущими фашистами прогрохотала и скрылась, они остались лежать, глядя с двух сторон на неподвижное тело.

— Елы-палы! — Выдохнул потрясенно Пенкин, утирая лицо рукавом маскхалата, смаргивая растаявший на ресницах снег. Туманков на локтях передвинулся к убитому, приподнял его голову, присвистнул:

— В лоб! Что ж мы комдиву скажем?

Долго молчали, обдумывая случившееся. Туманков жевал веточку, искоса поглядывая на Пенкина, тот, потирая варсжкой щеку, смотрел прямо перед собой в снег. Наконец, повернулся к Туманкову.

— Тридцать кэмэ еще, не допрем, в нем пудов шесть будет. А с телом линию фронта не перейти, положат, как пить дать! У них там каждый метр на мушке.

— Вот что, — решительно пробасил Туманков, — в лесок его надо. Тащить бесполезно, факт, угробимся. Замаскируем. Короче, не найдут, а потом...

Что будет «потом» Туманков не знал. В ближайшее время наступления не предвиделось, да и зыбкое оно было на войне, это «потом». Вот уходить надо было, как можно быстрее, слишком на шумели на переезде, а до него всего пять километров.

— Место больно хорошее! — оглядывая кусты, вздохнул Пенкин. — Лежали бы себе до вечера, а там раз — и в дамки!

— Как он часового снял на переезде а? — Туманков покрутил головой. — Я такого не видал! Как кошка по снегу крутнулся, я нарочно уши выставил, думал, услышу. Какое там, тень, и та громче пройдет. Слышь, а чего на складе долбануло, никак бомбы авиационные?

Пенкин кивнул, цокнув языком. Оба замерли, смотрели: вдоль полотна шли трое — двое маленьких, один высоченный. Верзила что-то ел на ходу, отрывая, как волк, одним движением от зажатого в руке куска.

— Глянь! — шепнул Пенкин. — Никак этот стрельнул?

— Он, — отозвался тоже шепотом Туманков. — По рыжим волосам откуда хочешь срисовать можно.

— Коль, — Пенкин облизал пересохшие губы, — мы капитана в леске схороним, а потом к этим завернем. Будка у них там, а это смена. Скоро дрезина назад шмыгнет, эти останутся. Их не более семи будет, пока эту гадину не положу, мне покою не будет!

— Нашумим.

— Мы тихо! Они спят, как мертвые, у них тут войск, как клопов, никого не ждут. И стрельнем пару раз, так со станции не услышать, главное — прозвонить не дать, пока очухаются, мы раз — и в дамки!

— Давай, только потом ногами перебирать и перебирать — не дай Бог! По следам пойдут, у них тоже скороходы на лыжах имеются. Дорогу надо пересечь, пока суд да дело, а то наперехват грузовиками сиганут, мотоциклы пустят! Лесом мы им нос натянем, как пить дать.

— Рванем, Колян, рванем, только треск пойдет!

— Одного треснули, хватит. Целый склад своротил, а с дурной пули сгинул.

Прогрехотала дрезина с фашистами, скрылась за поворотом. Через час-полтора прошли и эти трое. Верзила шел сзади, ссутулившись, засунув руки в карманы шинели, что-то зло и громко говорил впереди идущим.

Пенкин не сводил с фашиста глаз, даже постанывал от избытка ненависти и жажды мести. Туманков задумчиво жевал веточку.

Сумерки сгущались быстро. Мороз давал о себе знать, явно крепчая.

Могилу продолбили ножами неглубоко, окоченелые руки не чувствовали ребристых рукояток. Туманков обливался потом, матерился сквозь зубы, то и дело бросая нож и с остервенением растирая ладони.

Пенкин долбил молча, часто сплевывал длинной струйкой через щербину зубов и ежился, ощущение было омерзительное — лицо и руки схватывало холодом, а спину и живот под свитером, телогрейкой и маскхалатом заливали струйки противного, липкого пота.

Закрывать глаза капитану они не смогли. Тело окоченело, стали укладывать его в неудобную яму, с края упала горсть снега, было странно смотреть, как она залепила открытый шарик глаза — не тает, не смаргивается.

За капитана невольно поморгал Туманков, а Пенкин нагнулся и сдул снег. Снежинки от дыхания мгновенно растаяли, глаз увлажнился, из уголка скользнула светлая при лунном свете хрустальная капля.

Пенкин внимательно осмотрел могилу, отошел в сторону, долго озирался. Высмотрев, нырнул в перелесок. Вернулся с большой уродливой корягой, осторожно уложил на бугор, стараясь не сбить налипший на нее снег. Туманков достал из-за пазухи флягу, поболтал, прислушиваясь, протянул Пенкину.

— Помянем, не знаю, как звать. За Ивана Армейского, пусть ему земля пухом будет.

— А может, еще как?

— Дурак, — покачал головой Туманков. — Сам подумай, нос картошкой, волос ржаной, значит, кто? Русак. Откуда прислали? Из армейской разведки, там у них все секретные, раз так, значит, и фамилия его для нас — Армейский. Иван Армейский!

— Давай, — согласился Пенкин. — За Ивана Армейского. Вот судьба, сколько он поездов на воздух поднял, а от глупой пули сгинул. Мужик серьезный был.

Пенкин глотнул спирту, бросил в рот снег, довольно сощурился, примерился еще, но Туманков флягу отобрал, сунул за пазуху.

— Ты будешь пить? — Проводил глазами флягу Пенкин.

— Язва. На гражданке не выдавала себя, изредка прихватит, так-то справлялся. Все, вставай, рысью по краю дороги, к будке, там видно будет. Я часового сниму, а ты гранатой!

— Нет! — резко мотнул головой Пенкин. — Сам сделаю, я их в нож возьму.

— Лютовать стал, смотри, пуля, она злых ухарей не любит.

Лежали на вспухших корнях толстой ели, метрах в пятидесяти от будки. Часовой, коротышка в мохнатом тулупе, расхаживал туда-сюда, скрипел валенками, наконец, притих, прислонившись к столбу крыльца.

Пенкин поглядывал на луну, на черное, наплывающее облако, ждал. Крупные, морозные звезды светили ярко и бессмысленно. Он дернул плечом и замер, ощутив на спине руку, повернул голову — Туманков показал гранату, Пенкин зло оскалился, отрицательно помотал головой, рука его скользнула к поясу, блеснуло лезвие финки.

Туманков приложил руку ко рту, несколько раз сложил пальцы, как клюв, мол, а вскрикнет этот, то что? Пенкин оттопырил большой палец, будь спокоен. Туманков перехватил автомат удобнее, положил две гранаты под правую руку, кивнул.

Пенкин, не спуская глаз с часового, подтянул ноги к груди, стал развязывать тесемки на штанах. Бесшумно разулся, оставшись в шерстяных носках, пошевелил пальцами ног — терпимо. Оглянувшись на Туманкова, кивнул и встал, прильнув к стволу ели, потом пригнулся, изготавливаясь к броску.

Тулуп большой, фашист маленький, и Пенкин решил не рисковать. Кто его знает, что у него там под овчиной, пихают в карманы всякую дребедень, попадешь ножом в портсигар или гармошку губную, шум будет!

Между елью, где стоял Пенкин, и часовым — небольшой, присыпанный снегом куст. От него до фашиста шагов пять. Часовой стоял спиной. Туманков прицелился

в бесформенную фигуру, четко выделявшуюся на светлом проеме стены будки. Облизал пересохшие губы.

Огромной тенью, жутким ночным нетопырем скользнул Пенкин к кусту. Не скрипнул снег, не дрогнула ни одна ветка. Туманков усмехнулся и довольно поджал губы, только что был человек — и нет его! Часовой не шевельнулся.

Заслонкой легла на лицо дремлющего фашиста широкая ладонь Пенкина. Блеснуло лезвие... Всплеснул часовой руками, выгнулся телом и осел, разведчик, стараясь не звякнуть, перехватил его автомат одной рукой, другой фашиста на снег опустил.

Тишина. Туманков уже рядом стоит.

Едва слышно дверь будки скрипнула. Воздух в ней на сопенье, храпе и перегаре настоян, овчиной кислой тянет, еще одеколоном сладковатого, нерусского розлива.

Пенкин внутрь скользнул, Туманков хотел следом, но он его легко в грудь толкнул — стой, где стоишь, я сам!

Луна через промерзшие окна протискивается, красит лица спящих фиолетовыми пятнами, бликующей сыпью ледяных световых подтеков.

Пенкин остро огляделся — трое на нарах, один на лавке, с часовым — пятеро! Спящих бить нельзя, эту заповедь в разведке Пенкин хорошо усвоил. Спящий человек кричит в муке смертной, может вскочить, а если разбудить, тогда...

Потрел крайнего фашиста на нарах за плечо. Перегаром-то, мать честная! Когда поднял фашист стриженую под ноль голову, Пенкин руку ему на лицо кинул. Только всхлинул еле слышно...

На третьего фашиста навалиться всем телом пришлось, то ли попал неудачно, то ли живуч оказался, но вздумал биться, головой вертеть. Ладно, затих и этот. Тогда Пенкин, не таясь, по будке прошелся, четыре автомата через плечо перекинул, на лавку, где рыжий верзила храпел, с усмешкой покосился, к двери подошел, выглянул.

Туманков на ступени крыльца стоит, давно все понял по жуткой тишине в будке.

Пенкин автоматы на снег кинул.

— Все, что ли?

— Не, — Пенкин откашлялся, — рыжий гаденыш, тот, который капитана стрельнул, спит, пойдем будить.

Туманков пихнул верзилу в бок, тот замычал и на спину перевалился, ногтями подбородок скребет. Пенкин на его сонное чмоканье нехорошо засмеялся. Туманков еще раз пихнул, сильнее, взмахнул рыжий фашист руками, открыл глаза. Некоторое время таращил их бессмысленно на Туманкова, потом перевел взгляд на Пенкина, хрюкнул тонко и сел.

— Боров, — Пенкин сглотнул тошноту, — нажрал вывеску-то.

— Наловчился по кустам стрекотать, кузнечик. Едет на дрезине и стрекочет.

Туманков разглядывал противника.

А рыжий верзила ничего не понимал, ему казалось, что сейчас он закроет глаза, потом откроет, и ничего не будет! Эти двое, что похожи на страшные ночные привидения, растворятся в мутной мгле, исчезнут. И останется он досыпать на жесткой лавке в забытой богом собачьей будке, у ненавистного железнодорожного полотна.

Рыжий засопел, напрягая сонные мозги, неуклюже повернулся к темному углу, пытаясь понять, почему на нарах так тихо, где еще трое из его взвода? И понял вдруг. Оторопело перевел взгляд на этих двоих, что молча стояли перед ним в белых маскахалатах, с напряженными лицами, потом свалился на пол.

Его рвало, прямо выворачивало наизнанку, корчился и давился, захлебываясь животным ужасом.

— Идти надо, Жорка, — задумчиво сказал Туманков.

Пенкин скрипнул зубами и выбежал из будки. Сзади рокотнул ППШ.

— Как ты? — спросил Туманков, когда они приостановились передохнуть у крутого спуска, прежде чем скользнуть на лед реки.

— Вроде жар, кости ломит, черт.

— Таблеток бы... Или спирту с банькой! Ладно, терпи, идти надо.

Лежали в просторной свежей воронке от тяжелого снаряда, смотрели. С бугра было хорошо видно, как из фашистских окопов выгибались дугой морзянки трассирующих пуль и исчезали на той стороне поля. Оттуда отвечала злая скороговорка «максима».

Рассвет полыхал, и если бы не густые облака, совсем беда, не прошли бы они ни рожицу, где урчали фашистские танки, ни балку... Теперь приходилось ждать следующей ночи.

Туманков жевал сухарь, Пенкин маялся. У него слезились глаза, губы обметало. Сделав из снега катышек, Пенкин в рот его наладил, но Туманков руку перехватил, катышек выбил. На злой взгляд друга Туманков носом шмыгнул, а Пенкин опять за снег.

— Нельзя, Пенкин, холодное кушать, — буркнул Туманков, — температура у тебя. Лицо огненное и глаз плохой.

— Я тебе баба что ли, в глаза смотреть? Хватит хрумкать, кролик!

— Болеешь, — кивнул Туманков, разгрызая очередной сухарь. — Покемарь, нам здесь долго загорать придется. Я тоже раз консервов итальянских хапнул, так скрутило — спасу нет! В санчасть к фельдшеру, а он, зверь, масло сует! стакан набузовал и пей, говорит. Я бежать, тут начальник дивизии вырывает, что да как? Я и хватил стакан с маслом паскудным, из меня, как из полкового миномета, три дня шмаляло, ребята со свету сжили. Спасибо, старшина дубовой коры заварил, в кружку пороха кинул, и выпить заставил. После того дней пять наоборот получалось.

— Колян, надо к балочке, где спираль, видишь? Потом к кустам, оттуда к палке с тряпкой.

— Мин там понатыкано, как блох, — задумчиво Туманков отвечает.

Пенкин с хрипом откашлялся под рокот вражеского крупнокалиберного пулемета. Едва отдышался, к стене воронки прислонился, горло трет через маскхалат.

— Я никогда и не болел, понял? Под Смоленском плечо продырявили. Полковой врач, мужик стоящий был, говорил: «Заштопаю, не паникуй, как на собаке заживет!». Рана чистая, заштопал, только рубец сизый, а так ничего. Врача снарядом разнесло, а я его часто вспоминаю.

— Помолчи, когда говоришь, у тебя в груди хлюпает. Может, воспаление легких. Я мальцом был, под лед угодил, батя говорил — месяц пластом лежал. Козьим молоком отходили, мы тогда под Красноярском жили.

— Как в Москву попал?

— На выставку приехал, с односельчанами, там Тосю встретил. Как раз в тридцать шестом. Двойняшкам моим по шесть лет, Сонюшка кроха еще.

Пенкин засмеялся, покрутил головой.

— Наклепал, разведчик, а баба твоя, — с Москвы?

Туманков усмехнулся, хотел что-то сказать, но раздумал. Молчал долго, наконец, повернулся:

— «Баба» — это про других женщин, Пенкин. У Тоси мать умерла давно, когда мы встретились, одна осталась. У фонтана познакомились, где Большой театр. Откуда ты знаешь про театры-то, слаще морковки в жизни и не видел ничего. Отец мой присхал в Москву, и я его с Тосей познакомил. Он говорит, вот такие, как она, на всю жизнь, кончай кобелировать, куда скажет, с головой прыгай. Мы в Москве и остались.

— Ты ее старше, Колян?

— На семь годов.

— Красивая?

— Нет таких. Глазищи — век смотреть, не спать, не пить, не есть — смотреть и все! Детей родила — на прогулку сбегала, все с улыбкой и прибаутками. Мой старик угрюм, а с ней оттаивает. Ладно, кончай спрашивать, ты подремли, глаза красные, как у кролика. Схоронили нас, как думаешь?

— Могут, — равнодушно откликнулся Пенкин. — Мы трети, группа Лихарева угробилась на проходе, Егора Капустина с майором штабным минометами накрыли, чего ж ты хочешь? Нас с довольствия, поди, списали, мы вот они, а старшина хрен с маслом!

— Хватит трепаться. Спи.

Ночью, у выхода из балки, напоролись на разведку противника.

Скоротечен и лют ночной бой без выстрелов, когда в ход идут ножи и зубы, а люди, привыкшие скользить в темноте молча, стремительно и расчетливо вершат свое суровое дело.

Пенкин интуитивно выбросил вперед руки и крутнулся вокруг себя.

Удар ножом пришелся в перекрестье рук, резкий поворот усилил инерцию нападающего. Фашист кувырнулся лицом в снег, мгновенно привстал, но приклад автомата Пенкина тараном врезался ему в затылок. Противник пискнул и затих, уткнувшись головой в снег.

Пенкин, сопя от натуги, навалился, завернул ему руки за спину, выхватил из клапана маскхалата сыромятный ремешок, быстро связал. Прислушиваясь к невнятной возне неподалеку, перевернул фашиста на спину, глубоко засунул ему в рот шерстяную перчатку, тут же вскочил.

Второй фашист сидел на Туманкове верхом.

Еще раз ударил Пенкин прикладом, когда тот стал заваливаться вбок, выхватил финку, сунул ее в широкую, как плита, спину.

Туманков лежал, мерно сжимая и разжимая кулаки, в горле страшно хрипело. Пенкин упал рядом, приблизил лицо к лицу друга, лихорадочно высматривая, что с ним.

— Ты чего, задел он тебя?

— В бок... — трудно прошептал Туманков. — Потом в пах, Жорка, у меня кишки в штанах. Чую, провалились они в штаны, хана мне.

Невыносимая боль опоясала низ живота, Туманков захлебнулся ею, намертво сжал зубы, чтобы не закричать по-дурному.

— Заштопаем, — скрикнул горстью снега в кулаке Пенкин и заплакал.

Фашисты подняли сильную стрельбу, то ли что почувяли, то ли от скуки. С нашей стороны стали отвечать. Пенкин быстро огляделся — ни те, ни другие их видеть не могли. С одной стороны прикрывал хребет пригорка, с другой кусты, за кустами чернел провал балки.

Пенкин припал к Туманкову, обшаривая руками неподвижное тело. Маскхалат разведчика у пояса был пропитан липким и горячим, тише становился хруст снега под его локтями, он смотрел прямо перед собой в ночное небо, смотрел истово, с какой-то суровой значимостью.

— Жорка, меня не бросай, я быстро кончусь, погоди. В Москве к моим иди, финку, часы, портсигар сынам.

— Коля, ты воздух набери и не пускай с глотки, доволоку — заштопаем! Крепко держи, и молчи, со словом дых уходит, а он тебе нужен! Соберись, а?

Жарко шептал Пенкин, его трясло, как в лихорадке, то принимал к умирающему другу, то хватался за автомат и оглядывался. Туманков широко открыл глаза, повернул голову, веки дрожали:

— Ты женись на ней, слышишь? Другой такой нет, не смотри, что трое, не смотри. Дети быстро растут, если не женишься, я оттуда являться буду.

Протянул руку Пенкин, чтобы зажать рот другу, в смертной муке повысившему голос, и отдернул...

Про связанного противника совсем Пенкин забыл, вспомнил, когда подходил к КП. Поманил шедшего рядом молоденького лейтенанта, коротко рассказал о «языке». Лейтенант задохнулся от возмущения.

— Ну ты даешь, из армии связь оборвали, с этого участка «язык» нужен! Сазонов, Ельцов, ждите здесь, никуда отсюда, голову оторву!

Бойцы бережно сняли со спины Пенкина мертвое тело, положили на дно траншеи, сели курить. Он стоял, сгорбившись, шевелил онемевшими плечами, испытывая вялое равнодушие, даже есть не хотелось. Разглядел огонек сигарки в рукаве ближнего бойца, молча протянул руку. Боец вскинул голову, хотел что-то сказать, но второй сильно пихнул его в бок. Боец протянул прикуренную сигарку, шмыгнув носом, отвернулся.

Пенкин курил, обжигая губы, смотрел через поле в темноту...

Утром его вызвали. В землянке оказался незнакомый майор, высоченный и тощий, с унылыми, обвислыми усами. Он оглядел Пенкина, полистал папку, лежавшую перед ним, постучал по ней костяшками пальцев.

Пенкин доложил, что прибыл, стоял, смаргивая одурь после короткого и тяжелого сна. Майор кивнул, прикурил другую папиросу от окурка, искал глазами, куда его бросить, и, смяв в длинных, смуглых пальцах, оставил на столе.

— Садитесь.

Пенкин сел на чурбак, положил на колени руки, стал смотреть на них. Молчали. Наконец, майор заговорил густым, с сипотцой голосом:

— Как получилось, что Туманкова мертвого принесли, а командира оставили?

Пенкин молчал. Его что-то раздражало, сначала он никак не мог понять что, потом поднял голову.

— Не надо стучать.

Брови майора взлетели вверх.

— Пальцами по столу стучать не надо!

Майор машинально стукнул опять, убрал руки со стола и густо покраснел.

— Нервный. Место, где оставили убитого капитана, указать сможете?

— Чего его указывать, оно тут. — Пенкин ткнул пальцем в лоб и ухмыльнулся. — Извините, конечно, товарищ майор, а что вы со мной, как с гадом? Мы с Туман-

ковым капитана сами хоронили, там похоронщиков нет. Ему в лоб попало, и поминки по нему справили.

— Поминки? — удивленно смотрел капитан.

— Караул накрыли, когда обратно шли, завернули, ну и...

Майор развернул карту на столе, знаком показал Пенкину приблизиться. Пенкин привстал, оперся локтями на стол, стал смотреть.

— Значит, так, — майор ткнул пальцем в карту, — тут пересзд, здесь вы сработали склад, так?

— Так, — устало кивнул Пенкин.

— Дальше пошли сюда, мимо мельницы, по берегу, вот этой петлей. Здесь роща справа, тут рукав от реки. Но зачем лесом пошли, вот что мне непонятно, почему не по берегу? От рощи недалеко.

— Танки у них в роще.

— Как танки? — майор оторопело поднял голову. — Кто видел?

— Я и Туманков видели, и капитан, теперь я остался.

— Ну! Да не тяни ты, Пенкин, kota за эти самые! Соображаешь, что значит — танки?

— Капитан говорил, рощей засыплемся, надо ночь переждать и леском на полотно. С полотна к берегу и по льду, с правого бока у своих будем. Его рыжий стрельнул.

— Какой рыжий?

— Караульный фашист наугад с дрезины шарахнул, аккуратно капитану в голову. Мы в кустах лежали. В том леске и схоронили, не донести нам его было, далеко.

— Точно танки? Если брехня — нас с тобой по пояс в землю вобьют и краской покрасят, вместо памятников!

— Отвечаю, товарищ майор, не мальчик.

— Черт, ну и ну! Еще что видел, Пенкин, пехота, артиллерия?

— Этого нет, а за танки крутите дырку в кителе.

— Как бы уши нам не открутили, — уставился в стол майор.

Пенкин спросил разрешения закурить из майорского портсигара, майор кивнул.

— Товарищ майор, если не секрет, как нашего капитана фамилия? Когда хоронили, выпили за Ивана Армейского, так мы с Туманковым придумали.

Пенкин отчего-то страшно взволновался, жадно, во все глаза, смотрел на медленно прохаживающего по землянке майора — три шага вперед, три — назад, три — вперед, три — назад. Майор усмехнулся.

— Армяков его фамилия, и с именем не ошиблись — Иван.

Пенкин побледнел, встал, судорожно рванул ворот маскхалата.

— Я знал.

— Идите, но будьте рядом, проводят и покормят, потом в штаб.

— Есть в штаб!

Майор схватился за трубку телефона, Пенкин вышел.

Ночью не спал, распутывал нить совпадений на войне и не мог распутать... Когда уснул, то во сне стонал и плакал. Проснувшись, оцупал мокрое лицо, сел курить. За много лет эти слезы были первые, возле умирающего Туманкова тоже плакал, но не заметил этого. Пенкин растерялся.

Курил, поглядывая на часы Туманкова, лежавшие на столе, потом взял их и поднес к глазам ближе. Стрелки светились. При свете фонаря Пенкин разглядел, что на задней крышке чем-то острым, видимо, иглой, было выцарапано: Москва, пл. Журавлёва, дом № 2/8, кв. 13, Туманков Ник. Гр.

Пенкин подкрутил колесико завода пружины и уснул.

Во сне он разувался и шел по предательски хрустящему снегу к караульной будке, и никак не мог дойти. Силуэт часового быстро уменьшался, пока не пропадал совсем.

Тогда загорались звезды, сон начинался сначала...

Старик проснулся, чутко прислушался к своему огромному, мосластому телу — под сердцем появилась «заноза». Это не было похоже на приступ стенокардии, она начиналась с горла, куда подкатывало его уставшее за семьдесят пять лет, большое сердце. Хотел повернуться на бок — и оторопел, так это было неожиданно.

Заноза превратилась в бревно, его забили в грудь. Мир заслонило черное, расширяющееся пятно, дыхания не стало. Старик покрылся потом, растопырил пальцы рук, со стоном прогнулся и замер.

Ноги похолодели, пробежал ноющий, противный озноб. Он понял, что умирает.

В комнате сопели внуки. Сноха на заводе, эту неделю работала в ночь. Старик с горечью представил, как придет с работы Тося, найдет его мертвым, сколько забот свалится на ее худые плечи! И эти, малые-то, переполошатся, а главное, прорва расходов, одни могильщики сколько хлеба слупят! Беда.

Теряя сознание, он рванулся, сгреб руками простынь, перевалился к краю и рухнул плашмя с кровати.

Очнулся от боли. Провел рукой по лицу, почувствовал горячее, мокрое и счастливо заулыбался разбитому носу. Недоверчиво вслушался в стук сердца, как будто пронесло. На шее туго билась опавшая жила, ноги сухи и теплы, без противной обмирающей испарины. Старик зло ощерил беззубый рот, неизвестно кому погрозил кулаком и стал вставать.

Сердце опять ухнуло куда-то вниз, но тут же забилось, залопотало горячо и гулко, наливая тело приятной тяжестью. Он некоторое время стоял на четвереньках, потом осторожно поднялся на ноги. Шагнул к дивану, где спали внуки, смотрел на них и жевал губами.

— Черти! Оболтусы! Дед чуть в ящик не сыграл, а они пузыри пускают! — гундосил Старик в разбитый нос. — Вот спят без задних ног, как умерли. Набегаются до курячьего обморока, потом не добудишься, тьфу ты, прости мою душу грешную, язви вас!

Он шепотом отвел душу, побрел влезать в валенки. Это было трудно, по старости он имел привычку надевать на ноги трое-четверо носков, а валенки были туговаты. Долго топал в коридоре ногами, вспотел, когда влез, пошел шмурыгать по квартире.

Покрутил кран на кухне, похмыкал на ржавую воду, постоял, сливая, потом набрал кружку и жадно пил, постанывая от удовольствия, ворочал худой, жилистой шеей. Напившись, сел чистить картошку. Картошка своя, с участка в Щелково, осталось едва-едва четыре мешка.

Кожуру снимал аккуратно, сгребал в кучу и заворачивал в бумагу. После просушки кожура перетиралась на терке, из нее выпекались оладьи и блины. Внуки от таких «оладьев» воротили носы, Тося жаловалась на изжогу, они целиком доставались Старика.

Он ел их с видимым удовольствием, победно поглядывая на домашних. За долгую жизнь приходилось ему есть и похуже, особенно в японском плену.

Лютую изжогу Старик забивал содой, он купил ее перед войной у хитрюги с кондитерской фабрики — сразу сто пачек. Зачем так много, он не мог объяснить.

Картошку Старик мелко порезал, сложил в кастрюлю, высыпал туда половину старательно размятого гречневого брикета, посолил и залил водой. Долго держал в руках пачку маргарина, шевелил бровями, но раздумал, положил обратно в шкаф.

Когда тащил кастрюлю на огонь, чуть не опрокинул, еле-еле успел подхватить, при этом неловко повернулся. Добрых десять минут топтался на месте с выпученными глазами, придерживая рукой шею.

Разжигая примус, засорил глаз и освирепел окончательно. Поволокся в комнату к зеркалу, в сумерках проглядел стул, загремел через него, ушиб плечо. Один из внуков, не разберешь кто, проснулся, поднял от подушки кудлатую голову:

— Че ты, дед? Как этот...

— Я те дам «этот», умри, дьявол, соплив деду указывать! Я для вас официантом стал, подай, принеси, а они

в рогатки пулять будут, по чердакам скакать! Тресну по бестолковке, на что, ирод, фуфайку изодрал?

— Это Пашка.

— Вас, дьяволов, не разберешь, надо, как худых козлов, краской по лбам метить или бубенцы вешать. Соньку затуркали, а она вдвое меньше... Куда лезешь, охламон, задавишь сестру!

— Че, дед, кто ее давит-то? Обдююсь, пусти!

Вывернувшись из дедовых рук, Кешка прошлепал в туалет. Старик с досадой пошевелил вслед бровями, стал поправлять сползшее с маленькой Соньки одеяло. Пашка спал с открытым ртом. Старик осторожно вытащил и положил удобно руку внука, усмехнувшись на половину отколотого его зуба.

— Встань, ирод, встань! Я те чуб за фуфайку истаскаю!

Пришлепал Кешка, юркнул под одеяло. Старик стоял молча, смотрел на вздрагивающие веки внука — притворяется, шельма, что уснул сразу.

— Ноги не ошпарил, бежал-то? — спросил Старик. — Ничего, спи, а встанете, будет вам выволочка за стекло Макеихи и за то, что сахар стащили, мать с работы придет, чем поить? И рогатки изломаю.

— Найди, — глухо отозвался Кешка, — потом ломай.

— Найду, найду! — в тон покивал Старик. — А найду, так отполирую, во весь дом орать станете, а матери нажалуетесь, я вас совсем на нет сведу! Она, бедная, мыкается, а эти стервятники ее в трату вводят, огорчают, одежду рвут.

— Ты не дерись!

— Умри!

— Тогда так щелканул, думаешь, не больно? У тебя щелчок железный.

— Другой раз не так щелкану.

— Дед, чего это Мюллеров заарестовали, а? Какие они «враги народные», дядя Отто в офицерах, тетя Марта болеет.

— Чего это ты? — растерянно переспросил Старик, не ожидавший вопроса.

— Не, правда, дед! Их ночью заарестовывали, а безногий Сашка сказал на Сталина «гнида усатая, кровью поперхнется!», я слышал!

Старик задохнулся от ужаса, плюхнулся на стоявший рядом стул, дотянулся до его плеча, крепко ухватился.

— Христом Богом, погоди... — Старик гладил другой рукой горло, переводя дух. — Молчи, милый, про все молчи, нельзя! Мамку напу... Без мамки останемся, я умру, а вы малые!

Он горько заплакал, быстро вытирая слезы одной рукой, другой цепко держал внука за плечо, пытался что-то сказать, но только всхлипывал. Перепуганный Кешка некоторое время смотрел, потом заплакал сам, соскочил и уткнулся деду в плечо.

Так, обнявшись, и сидели, пока не успокоились.

Старик уложил его на диван, укрыл одеялом, погладил по голове, и пошел на кухню. Поставил кастрюлю на огонь, сел на низенькую скамеечку, просунув руки меж колен, сцепив большие, костлявые кулаки.

Солнечный луч долго путался в занавеске, нашел щель и прынул в кухню. Упал на стариковский лоб, разом высветив лицо...

Тяжел Старик — поросшая седым волосом грудь, когда-то развернутые, теперь обвислые плечи, плита спины, сизое, в крупных морщинах, рубленое лицо. И взгляд тяжел, но когда улыбался, мелькало в глазах что-то беззащитное, виноватое.

Думы у него разные. Например, где взять кожаную латку на валенок — дело к зиме? Как выудить у Пашки рогатку, если он ее прячет неизвестно куда? Каким будет паек? Внуки прожорливые стали, друг перед дружкой на еде «выпендриваются» «мужчины», язвы их! А Сонька светится, до того отоцала, ей бы морковки, жиров... Растительное масло, оно тоже витамин, но говядина — это покрепче будет, или сала, например, кусок добрый на хлеб.

Покрутил головой, встал попить воды.

Стукнула входная дверь, пришла сноха Тося, зашаркала тапочками в передней.

— Тось?

— Я, пап, ты чего так рано?

Она прошла на кухню, села у стола, откинувшись головой к стене. Старик обеспокоено взгляделся в ее бледное, без кровинки, осунувшееся лицо, стал торопливо наливать в кружку кипяток, резать пайковый хлеб. Отрезав два ломтя, подвинул к Тосе, погремел крышкой кастрюли, проверяя кулеш, достал из шкафа сахарницу, выбрал кусок сахара «посправнее» и положил на хлеб.

— Без ног? Ешь, архаровцы с десяти вчера дрыхнут, вчера по крышам сараев лазали, того гляди, шеи посворачивают. В войну играют, проклятые, а я чуть дуба не дал нынче, с постели кувыркнулся, глянь!

Старик сунулся вперед, показывая снохе сизый, напухший нос.

— Сопатку разбил, должно, помру скоро.

— Зачем?

Тося зябко передернула плечами, внимательно взгляделась в Старика. В последнее время чувство страха и неминуемой беды не покидало ее. От мужа не было писем, Старик вот, только-только ногу излечил, три месяца мучился с шиной, и на тебе, умирать собрался!

Она взяла кружку, стала пить. Хлеб отламывала кусочками, медленно и трудно жевала, к сахару не притронулась. Старик некоторое время хмуро следил, как она ест, потом быстро протянул руку, сгреб сахар в ладонь и бросил в ее кружку. На улыбку снохи, что-то невнятно пробурчал и встал.

— В ноги вступает, вот чего, скипидару бы или одеколону.

Старик сокрушенно покачал головой и занялся делами. Дела нехитрые, сегодня суббота, значит, постирушки. Выволок на середину кухни табурет, поставил на него таз. Долго, недоверчиво оглядывал со всех сторон обмылок, что-то пришептывал. Налил воды, добавил кипятка

из чайника, поболтал в тазу рукой, размешивая, недовольно косился на улыбку снохи.

Тося улыбалась, спорить бесполезно, упрямый Старик сам стирал свои носки, трусы, подштанники. Если случалось это делать Тосе, то он начинал с тихого ворчанья, потом расходился, и все кончалось лютой руганью и хлопаньем дверью. В конце концов, он садился на диван, шевелил бровями, не разговаривал, а листал старый календарь и жевал губами. Связываться с ним не стоило.

— Пап! — позвала Тося.

Старик независимо повел подбородком, не отвечая, принялся складывать горкой грязное белье, ходил по кухне туча тучей...

— Пап, ты же умирать собрался!

— Мужик твой придет, ему и постираешь, мне нечего. Ноги таскаю, таблеток не пью, а водки нет. Я твоего Николая, знаешь, как один раз выходил, нет?

Тося слышала эту историю раз пятьсот, но отрицательно покачала головой, откинулась к стене, приготовилась слушать. Внутри от усталости дрожала какая-то струна. Она физически ощущала ее — вот-вот лопнет, оборвется, и... Но спать не шла, потому что знала — не уснуть ей в это время. Того гляди ребягня встанет, возню затеет, приставать начнет. А то станут все на цыпочках ходить, сон ее оберегать, а это еще хуже.

— Как, пап?

Довольный Старик тут же плюхнулся на стул — он до боли любил разговаривать о сыне. Получая с фронта долгожданные треугольники, Старик никогда не читал их первым. Клал на стол или на видное место в комнате, напускал на себя чрезвычайно озабоченный вид, копошился по мелочам.

Когда Тося прочитывала ему вслух письмо, он важно кивал, шевелил бровями и ничего не понимал. Уже потом, когда все ложились спать, Старик садился на кухне за стол, нацеплял очки и медленно, слово за словом, разбирался в «николашиной писанине». Плавился горь-

кой, старческой слезой, пил «аверьяновку», поминутно царапал костенеющими пальцами левую сторону груди.

Утром, когда Тося уходила на работу, Старик делал подъем и «аврал» внукам, сажал их неседетых на стулья и торжественно, с надрывом в голосе и выражением читал отцовское письмо. Маленькая Сонька тарацила спросонья глаза, зевала.

Близнецы Пашка и Кешка сначала слушали серьезно, потом начинали хихикать над дедовыми прыгающими бровями, и тем как он читает по слогам. Старик выходил из себя, пытался сохранить торжественность момента, но чтение заканчивалось скандалом и изгнанием внуков на улицу.

Дочитывал он письмо отца одной Соньке, мирно спящей у него на коленях. С ней и беседовал на тему фронтовых новостей. Обсуждал варианты «отступлений, наступлений», главное, не встречал с ее стороны возражений, если надумывал перечитать письмо еще раз и обязательно вслух.

— Значит, вот чего, Тось! — Старик облокотился на стол. — Это, когда Николаю шестнадцать стукнуло, в деревне был кержак, его Упырь звали, деньги в проценты давал. У Упыря дочка в дурочках ходила, с виду ничего, а как накатит, спасу нет, того гляди, сожжет или драться кинется! А Колька с дружками к Упырю в сад лазать наладился, яблоки трясти. Она, дочка-то упырева, грозилась, а с них что возьмешь, молодые, зубы скалят и все. И, Тось, приносят мне твоего мужа в ночь. Мать — покойница, хлопнулась сразу. Колька синопой взялся, едва дышит — эта упыриха в него с десяти шагов жаканом волчьим стрельнула, поняла? Волка — это что, такая штука медведя с ног свалит! Застыл я, не всколыхнулся даже... Дырка у него тут, где кость начинается. — Старик ткнул себя пальцем под левую ключицу. — Из дырки кровь еле-еле! Врачей, где искать, да и не было у нас в ту пору врачей, криком кричи — нуль! Щупаю пальцем, твердо, потом выяснилось, что промахнулась упырева дурочка, в доску забора попала, а сквозь нее — в Кольку. Поте-

рял жакан убойную силу, но дыра есть. Переворачиваю его спиной кверху, что силы кулаком трись! И выпал свинец. Дальше слушай, беру стакан водки, и прямо в дыру, Колька стонать, а я и ему стакан! Мать на меня с кулаками, стубишь единственного! Третий стакан в себя влил, через неделю парень на ногах.

Старик победно смотрел.

— Продезинфицировал? — устало улыбнулась Тося.

— Ирод Пашка рогаткой пуляется, — вспомнил Старик, — я его изловил, он опять спрятал. И не найдешь, хоть собак приводи! Вчера сын Макеихи — генеральши, Сережка, на сквере апельсин чавкал. Наша малая стоит, слюни распустила, чуть не плачет. Я ее турнул, чтоб не попрошайничала.

— Она маленькая, пап, чего уж ты?

— Я Николаю ругательное письмо послал, пусть почитает, третий месяц молчит.

— Может, не доходят?

— Я те дам, не доходят. У всех доходят, у него нет? Баламут с малолетства! Соньке витамины нужны, тьфу ты, Господи, как его? Гама... геман... гамантогент, что ли?

— Гематоген?

— Во-во, Сонюшка в рост идти должна, а она у нас все цигалица. Папка с Кешкой поменьше были, так хоть жрали, а эта по капле!

— Прилягу на чуть-чуть, пап?

— А кулеш?

— Потом, ты ребят накорми, как встанут, в час толкни, я тусы прострочу. У машинки шпулька западает.

— «Шпулька!» — проговорил Старик. — Один нос остался, того гляди, ветром свалит, а все шпульками заботится! Спать надо, иди, полежи, я их, дьяволов, турну нынче, турну!

Тося ушла спать. Старик сел на скамеечку у окна. Долго смотрел на полку, где лежал кисет с табаком, не выдержал, протянул руку, отсыпал добрую горсть, свернул сигарку и даже поперхнулся слюной, когда прику-

рил, так соскучился. Не просто курил, а, выпустив изо рта струйку дыма, рукой подгребал, подгоняя ее к носу, чтобы до конца и полностью испытать табачную горькую сладость.

Потом он стирал.

А Кешка, лежа на диване, рассматривал стоящую на комодке фотографию верховного главнокомандующего. Вспоминал, как страшно кричала красивая тетя Марта, соседка по лестничной площадке, жались к стене дворник и бывший боцман Карасев, что жил на пятом этаже. Их какими-то «понятыми» позвали строгие люди в красивой форме...

Сашке Проклову обе ноги в сорок первом на Можайском шоссе бомбой с самолета оторвало. Едва жив остался. У него и мать, и отца, и брата старшего в лагеря за шпионаж услали, там и сгнули. Сашку хотели выслать, тут война, не до него стало. На второй день войны без ног остался.

Кешка к Сашке в комнату часто ходит. То помочь, то еще чего, а больше из любопытства. Кешка деду сказал про обзывание Сашкино, но дед — могила. Если, не дай бог, кто узнает, что безногий частушки себе под нос про Сталина наяривает, все! За них ему те, в форме красивой, руки вырвут.

Вот только пьет Сашка — это Кешке очень не нравится. Особенно, когда он его за самогоном гоняет с барахлом, что от матери и отца осталось. То пиджак, то кофту, а на прошлой неделе кольцо носил.

Кажется мальчишке, что смотрит Сталин с картины прямо ему в переносицу. Тяжело и пристально смотрит, словно тайну какую-то знает, и тайна эта, того гляди, всем во вред окажется.

Скосил Кешка глаза — расплылся вождь в тусклое пятно, вернул глаз на место, и вождь опять смотрит. Вздохнул, на брата ногу закинул, а Пашка спит, ему никогда и ничего не надо!

Разные они, хоть и близнецы. У Пашки одна страсть — рогатка, из нее без промаха бьет.

Призыву он не подлежал из-за врожденного слабоумия. Неразвитый мозг свободно умещался в большом бугристом черепе. Мысли были короткими и невнятными, сердце добрым и приветливым. Митенька всегда беспричинно улыбался, любил держать людей за руки, прижиматься плечом к груди и класть голову на плечи.

При этом лопотал тонким голосом что-нибудь трогательное, вроде «так лублю-у, ух как! Ты хаёший, у, какой!».

В тридцать лет Митенька едва достиг развития четырехлетнего ребенка.

Погрузив его разум в зыбкую дремоту, природа, как бы в насмешку, оставила на поверхности гениальную память.

Окружающих поражало, как мог этот дремучий мозг помнить практически все, что касалось работы почтальона. Стоило назвать любую фамилию с многотысячного участка, и Митенька безошибочно называл номер дома, квартиры, так же перечислял всю корреспонденцию, выписываемую этим жильцом или его домочадцами.

Все это с трогательной улыбкой идиота, не выговаривая букву «р», тонким голосом бесполого существа.

Его любили. Угощали конфетами, поили чаем, на «дорожку» пихали в карманы неизменной телогрейки мелочь. Почтальон к этому привык, он был неотъемлемой приметой этого района, о которой рассказывали посторонним.

Когда это кончилось, Митенька не понял. А кончилось нелепо, страшно и стремительно. Удивляться не умел, поэтому смотрел вокруг с трогательной улыбкой, так же объяснялся всем в любви и брал за руки. Его стали избегать.

Воронка войны втягивала в себя все новые и новые людские судьбы. Митенька улыбался, протягивая адресатам похоронки, ждал подарков и лопотал нежно и горячо, широко раскрывая глазки.

Сапожник Нефедов, когда Митенька принес ему похоронку на третьего сына, схватил молоток, со стоном

кинул в почтальона. Инструмент врезался в полку, с нее посыпались гаечные ключи и железки, одна стукнула почтальона по многострадальной голове.

Ошалев со страху, почтальон бросился бежать, но вместо двери стал ломиться в стенной шкаф, запутался в полушубках, плащах и пальто, завыл дурным голосом. Оттуда его вытащила дворничиха Максимовна, почтальон размазывал по щекам грязь и слезы, в ужасе озирался.

Дома он рассказал старухе-матери и снова плакал. Мать слушала молча, потом слезла с сундука и бросилась на сына. Схватив за волосы, всхлипывая, драла так, что Митенька еле вырвался, убежал во двор прятаться за сарай. Отсиживался там два дня, стуча зубами от страха, голода и непонимания происходящего.

Но дошло до убогого, он понял, в мире что-то произошло, он страшно и непонятно изменился.

Четвертую похоронку, что пришла через три месяца тому же Нефедову, уже на дочь, лейтенанта медслужбы, Митенька адресату не доставил. Часа два простоял за почтой, у стены, где пожарная лестница, морщил лоб, отковыривал известку и ел, усиленно моргая. Думал.

Проклятую бумажку сунул в ржавую консервную банку, заложил свободное пространство камешками и закопал под акацией в сквере, старательно присыпав пожухлыми листьями.

Дома долго рылся в старом ящичке, где хранил свои «сокловища», сел за стол, вооружившись красным карандашом.

Сапожник Нефедов всем показывал странное письмо без адреса и подписи, с одним-единственным листом, на котором была наклеена картинка с самолетом и облаками. На листе аккуратно выведено слово «луублю».

Поудивлявшись, Нефедов спрятал картинку вместе с документами своими и погибших детей, часто доставал посмотреть, как маленький «ястребок» разрезает винтом игрушечные облака.

День обещал быть ненастным, но к обеду подул напористый ветер, и валкое дождевое облако ушло за Язузу

подыхать тоскливым, сентябрьским плачем. Солнце быстро нагрело мостовые и камни домов.

Ушлые военные воробьи подняли гвалт, перелетая в воробьином беспокойстве с места на место. Тренькали трамваи.

Митенька остановился у дома 2/8 по площади Журавлёва, улыбнулся шедшей навстречу дворничихе Максимовне. Она волокла тяжеленное ведро с песком, на ходу вытирая рукавом драной фуфайки распаренное лицо.

Увидев почтальона, Максимовна остановилась, поставила ведро под другую руку, вопросительно подняла белесые брови.

Лицо у Максимовны широкое, с коротким носом, глаза маленькие с выгоревшими ресницами, рот с вечно поджатыми сердитыми губами. Фигуры у Максимовны нет. Плечи сразу переходят в талию, где-то посередине колышется необъятная грудь, а бедра и ноги начинаются незаметно.

Бывший боцман Карасев из двадцать седьмой квартиры, встречая Максимовну, надолго останавливается, неопределенно шевелит в воздухе толстыми пальцами, изрекая непонятное: «Не корабль, баржа, а плывет!» При этом хмыкает плотно, поглаживает рыжие усы.

С бывшим боцманом у Максимовны отношения сложные. Года три назад он как-то пришел к ней навеселе свататься. Принес торт и бутылку красного. Изумленная Максимовна усадила гостя, села сама.

Боцман полчаса бурчал невразумительное про «совместное плавание», и что шестьдесят три — это не года, а так, муть одна! Выпил бутылку и не к месту принялся рассказывать, как гулял в иностранных портах и какие там есть «замечательные смуглявочки».

Максимовна вздыхала на «совместное плавание» и года, вытирала покрасневшее лицо платком, советовала «говеть и ходить в храм». Когда речь пошла о «смуглявочках», Максимовна недоверчиво покачала головой, потом побагровела.

Боцмана из квартиры поперли в толчки.

Торт противно шмякнулся у ног «моремана», распавшись на бисквит, крем и ленточку с коробкой отдельно. Раздосадованный боцман пошел «на абордаж», но поднаторевшая в уличных схватках с пьяницами Максимовна, быстро и ловко помогла ему спуститься с лестницы, пригрозив сдать в милицию, если не прекратит хулиганство.

— Во! — Митенька с восторгом ткнул пальцем в ведро с песком, стоявшее у ног Максимовны. — Зазыгалки тусоваться будут! Фашист полетит, а бонбы песком, да?

— Дурачок ты маленький, — ласково улыбнулась Максимовна.

— Я больсой! — Митенька поправил сползшую с плеча почтальонскую сумку. — Мне тлицать годиков! Мне пасполт давно дали, кода исо маленький был.

— Ты в наш подъезд? — обеспокоилась Максимовна.

— В тлинадцатую квалтилу, тете Тосе Туманковой, письмо плинес.

Митенька похлопал рукой по сумке, Максимовна настороженно взгляделась в его лицо, решительно протянула красную от вечной воды руку.

— Дай письмо, дай, кому говорю, ощерился-то! Нука, горе мое!

Почтальон улыбнулся, взял из сумки конверт, протянул Максимовне.

— Господи, трое у Тоськи и старик, мамочки мои родные, что ж это? — дворничиха схватилась за горло.

— Нельзя читать чужые письма, — строго сказал Митенька. — Влаг не длемлет!

— Враг — это ты, зараза! — выдохнула Максимовна, глядя в его пронзительную синеву глаз. — Долго будешь таскать письма эти, башка твоя дырявая? Долго ты сиротить людей будешь? Иди, чего ослабился, сволочь, неси!

Митенька отшатнулся, заморгал быстро-быстро, сел прямо на тротуар и заплакал. Максимовна подхватила ведро с песком, сделала несколько шагов, но тут же бросила ведро, кинулась к Митеньке, обхватила руками его голову, упав на колени, взвыла.

Открыл Митеньке Старик, строго оглядел почтальона, вопросительно поднял брови. Почтальон протянул конверт и сразу пошел по лестнице вниз. Старик недоуменно посмотрел вслед, послушал, как хлопнула входная дверь подъезда, повернулся, зашел в квартиру, аккуратно и тихо прищелкнув за собой дверной замок.

На кухне Старик сел за стол, чутко слушая, не идет ли Тося. Что делали его руки, он не понимал. Машинально вскрыл конверт. Прочитав страшную бумагу, вспомнил про очки, сосредоточенно общарил глазами кухню, искал.

Передвинул их с затылка на глаза, еще раз прочитал бумагу, осмотрел печать, подписи, зачем-то поднял на свет, взгляделся сквозь бумагу. Положив на стол, крепко провел по сгибу прокуренным ногтем, сложил лист еще раз и опять провел.

Движения его были скуны и замедленны. Когда сгибать стало невозможно, тогда Старик нагнулся, засунул свертыш в шерстяной носок. Выпрямившись, посидел, ожидая отлив крови от головы, и принялся за прерванное дело, он гладил белье.

Выгладив последнюю ребячью майку, Старик сложил белье в аккуратную стопку, перенес на подоконник. Налил в таз воды, попробовал пальцем — кипяток. Сел за стол, ожидая, когда остынет вода.

На глаза попала соль, Старик стал есть соль. Брал щепоть и клал под язык, не чувствуя вкуса. Когда скулы свело от невыносимой горечи, поднялся попить.

В кухню влетели Пашка с Кешкой, стали воевать из-за права попить первому из крана. Старик знал, что надо навести порядок, но забыл, как это делается. Поэтому просто поддал и тому, и другому по затылку, указал на дверь. Внуки притихли, опасливо смотрели деду в лицо, выжили, часто оглядываясь.

Старик прикрыл за ними дверь на кухню. Он все время думал, а думы эти ускользали и ускользали, он никак не мог ухватить их суть. Стопку выглаженного белья он сунул в таз, и стал стирать заново.

Сердце его билось ровно и твердо. Теперь он точно знал, что не умрет ни в эту ночь, ни в ближайшие много-много ночей. До совершеннолетия внуков было далеко, о Соньке и говорить нечего. Война не могла быть вечной, а в квартире № 13 мужчин, кроме него, не было. Некому варить кулеш, ругаться в очередях и сажать картошку.

Похоронку Старик Тосе не показал. Вечером пошел загонять внуков домой, к нему с плачем кинулась Максимовна. Что сказал ей Старик, никто не узнал, но дворничиха в полчаса обегала всех, с кем успела обговорить горе семьи Туманковых.

Ничего не знала о гибели мужа худенькая, большеглазая красавица Тося. Иногда ее настораживали странные взгляды соседей, но забот было столько, что не до взглядов. Время смутное, зыбкое, тяжелое.

Однажды вечером, распирая земной шар костылями, крепко врастая в него единственной ногой, встал посреди площади Журавлёва разведчик 132-й гвардейской дивизии, лейтенант Георгий Пенкин.

Шинель свободно стекала с его госпитального тела, ворот гимнастерки распахнут, под ним бегут штормовые полосы выгоревшей, не положенной по форме, тельняшки.

Оглядел громаду дома 2/8, перекинул папироску из-под одного конца прокуренного уса под другой, плюнул в чугунную «николаевскую» урну и поманил пальцем пробежавшего мимо пацана.

— Замри! Где тринадцатая квартира?

Пацан заморожено рассмотрел два ордена Красной Звезды, отвернул полу шинели справа — открыл рот на множество сверкающих медалей, только тогда поднял глаза, разом ухватив горбатый, тонкий нос, усы и ключие глаза из-под выгоревших бровей. На костыли и единственную ногу внимания не обратил.

— Там Туманковы живут.

— Ну и... как живут? — спросил Пенкин, напаривая портсигар.

— Нормально, — пожал плечами пацан. — У них отца убило, у Пашки с Кешкой, весь дом знает, а они нет.

— Почему? — быстро спросил Пенкин, вглядываясь в веснушчатое лицо.

— Не знаю, мамка мне не велела говорить, я и молчу. А вы фашистов убивали? Хоть одного застрелили?

— Нет, — Пенкин задумчиво прикусил папиросу, — я каски красил. Для маскировки, зимой в белый цвет, летом в зеленый. А фашист сам с мороза мрет, ему наступление скомандуют, он побежит и — амба, мрет!

— Как? — сбитый с толку, пацан рот раскрыл.

— Как мухи!

Кивнул Пенкин, пацану палец в рот сунул. Тот сглотнул от неожиданности, недоверчиво посмотрел, и засмеялся.

Пенкин достал портсигар с вензелем нерусским, заковыристым, сунул в него неприкуренную папиросу и пошел. Раскачивался на своих пожизненных качелях — костылях, далеко выкидывая ногу в надраенном сапоге, какие в ту пору носили генералы да интенданты из пронырливых, а из простых вояк, мало кто. Правда, еще разведчики.

У подъезда дома бывший боцман Карасев Максимовну выглядывал. Пенкина увидел, откозырял, очень даже прямо для своих шести десятков, во фрунт выпрямившись. Пенкин не заметил, в подъезд вошел. Карасев его глазами проводил, послушал, как дверь хлопнула, потом обиделся.

Вадим Петрович Крючков в сказки не верил, Бога не боялся, сильно сомневаясь, что такой существует. Верил твердому советскому рублю, тайне вклада в сберкассу, а больше ничему. Даже хромому Филе, с кем имел дело на мясокомбинате, до конца не доверял.

Десять ящичков свиной тушенки, переложенных промасленной бумагой, пять мешков сахара, ворох копченых колбас, кадка говяжьего жира, коробки со сгущенкой и

макаронами, несчетно шоколада — это личный резервный фонд Крючкова.

Остальное было в обороте.

Только за наличие этих богатств, по военному времени несметных, полагалась ему не «дальняя дорога — казенный дом», а девять граммов равнодушного свинца в стороне от жилья и кладбищ.

В его квартиру имела доступ только шестипудовая Татьяна, посудомойка столовой при заводууправлении, бывшая попадья, давно уже ставшая вдовой.

Мелкие деньги Вадим Петрович менял на сотенные, а когда их скапливалось достаточное, по его мнению, количество, то на некоторое время исчезал. В квартире оставалась одна Татьяна, вздрагивала на шорохи, часами сидела без света, грызла копченую колбасу прямо с кожурой и тихо выла от страха.

Возвращался дня через три грязный и довольный. На принесенные им, остро посверкивающие камешки бриллиантов, Татьяна старалась не смотреть. Золото ее тоже не волновало. Она страстно, всем большим, коровьим сердцем любила Вадима Петровича, и успокаивалась каждый раз только при его возвращении, благостно отпотевала — обошлось.

— Марковне скажешь, на той неделе товара не будет, — гладил могучее Татьянино колено Вадим Петрович. — Зажралась в своей столовой... Прошлый раз маргарин братя не хотела, масло давай, не думает башкой дырявой, что время нынче какое? Маргарин туда-сюда, а с маслом-то, копни и... У меня клиентуры без нее хватает. Долг заведи!

Татьяна кивнула, с умилением глядя на руку Вадима Петровича.

— А еще скажи, увижу, что в театр намылилась, жаба столовская, пусть на себя пеняет! Это мыслимо? — с досадой плюнул. — Шубу напялит, колец чуть не в нос насажает! Ей не пятнашку сунут, сполна будет. Лубянке на ее прелести начхать! Стрельнут за милую душу, согласно военному времени.

— Вадька, не пей, дурной становишься. Полулитру выпил, куда такая прорва?

Татьяна встала, прошлепала к окну, аккуратно задернула край отвернувшейся занавески. Вадим Петрович следил за ней с кровати, весело щурил глаза. Он любил подразнить пугливую попадью, очень веселился, когда вдова покрывалась от страха обильным потом.

— Цыц, дура, пей, не пей, тебе-то что? Жрешь сладко, спишь вволю и ладно. Поди, на паяк не много ожиреешь, а? Ты бы хоть попостилась, а то щеки за километр видать. Вот она я, бери меня, Уголовный розыск, толстомясу! Ты почти семинарию закончила при долгогривом своем! Чего засопела, где золото, поди, осталось «рыжиков»? Спрятала, по роже твоей вижу, спрятала... Меня не проведешь, розыскной собакой могу работать, металл под землей на три метра нюхаю! Правильно твоего попа шлепнули, не иди против власти законной, змей патлатый, чем она ему не угодила? Дом, землю отняла? У церкви не шибко отбирали, и чем Сталин не угодил? Он до церкви не касался, он врагов внутренних выискивал. А твой поп вместо того, чтобы спокойно селянам мозги туманить, пирогами кормиться, решил в переворот влезть. О, Господи, тоже мне, Георгий — змееносец!

— Победоносец. Чего привязался, спи, раз собрался.

Вадим Петрович некоторое время молча разглядывал Татьяну, потом нашарил под подушкой портсигар, закурил, окутался дымком.

— Голос у тебя, как из бочки, ну-ка, прими руку, развалилась, кобыла! Мигнуть, так у меня знаешь, какие девочки полы мыть будут? Что я с тобой валандаюсь, тебе лет сколько, хоть помнишь?

Попадья с опаской покосилась на Вадима Петровича, вздохнула.

— Отстань, ирод.

— Не, серьезно...

— На сколько выгляжу, столько и лет, все мои, чужого не надо.

— Врешь. «На сколько выгляжу...». Ты с девяностого года, поп тебя перестаркой брал.

Татьяна колыхнулась необъятным телом, приподнялась, облокотилась на руку, стала смотреть на развеселившегося сожителя. Глаза у Татьяны синие-синие, волос тяжелый, темно-каштановый. Губы пухлые, оттопыренные, подбородок двойной на грудь наваливается...

Смеется Вадим Петрович тихонечко, Татьяна ему нравится, баба в соку.

— Татуська, куда монетки от попа закопала, а? Честно только.

— Полная конфискация.

— «Конфискация!» — зло вздернул верхнюю губу — Поверил я тебе, как же! Сестрица твоя в Фонд обороны, сколько сдала? Я помню, триста пятьдесят тысяч, вот сколько! С архидьяконом своим торжественно сдали, и еще кресты, кольца, и камней в два раза больше...

— На войну дал; война-то народная.

— Заткнись!

Вадим Петрович быстро сел на кровати, поерзал, устраиваясь, поднял затекшую руку, пошевелил пальцами.

— «Народная...». Он мне дал чего, народ твой? Отец хребет ломал, в двадцать девятом ему сломали! Народ... «Год великого перелома»! Вот и переломили. Только-только на ноги встали, батя плуг завел, лошадь, три коровы были, телок и телушка, свиней... Все хребтом, а нас — мать, батя, я и братан! Братан малой, мать болеет. Кто пахал, кто морду в навозной жиже мыл? Я и батя, а нас в Соловки? У соседа семеро по лавкам, он, гад, на лишнюю конейку норовит гулять, на работу не утянешь, баба его, кроме, как родить, ничего не может. Им новая жизнь, а нам — Соловки, поняла? За то, что он на печи в бездельниках, его в командиры! Ему права дали, а мы в кулаках под расстрелы шли.

— Не все мздоимцы, не все! По делам нашим ответ держать будем.

— По делам, говоришь, тогда тебе на том свете большая сковородка припасена.

— Не мели языком, ночь на дворе.

Вадим Петрович оттопырил пальцы руки, загнул мизинец.

— Продукты в столовую Марковне кто таскает? От законной власти драгоценности попа-контрреволюционера утаила. Я не фраер, Кодекс выучил. Как соучастница хищений в особо крупных размерах в военное время, тянешь на «вышку».

Вадим Петрович хлопнул себя по животу, залился смехом.

— Связь греховная со мною, в аду сковородка обеспечена.

Закривлялся бесом, с кровати прыгнул и давай скакать по комнате!

Тарелку с подоконника смахнул на пол, ножку стола задел, с него чуть стакан не грохнулся, да Вадим Петрович успел его подхватить. Отсмеявшись, напрыгавшись, сел к столу, долго и с интересом разглядывая этикетку на бутылке с водкой. Налил в стакан, глядя перед собой в пространство, выпил, не поморщился. За него Татьяна скривила лицо, с отвращением смотрела, как ходит кадык, подрагивают пальцы и наливаются краснотой уши.

Выпил Вадим Петрович, на Татьянину гримасу ухмыльнулся, встал.

— Закуси, прод, закуси, все не как у людей, Господи!

— Я не люди, — перебил ее Вадим Петрович. — Я — нелюдь.

С разбега упал на кровать, так что ойкнула испуганно попадья, застонали пружины обширной кровати. Вадим Петрович сунул руки под голову, задумчиво прикусил нижнюю губу.

Лицо у Вадима Петровича в глубоких морщинах, загорелое. Усы пшеничного цвета, уголками книзу. Нос с проваленной седловиной, ноздри крупные, четко очерченные. Хрящеватые уши... Растительность на голове жид-

кая, зачес делает сбоку, где волосы длиннее, прямо на плешину затылка.

— Я читал много, особой мудрости нет в книгах, но кое-что накопать можно. Так я понял, две меры у человека есть — или вор, или праведник. Праведники живут хуже воров, впроголодь, бьют их чаще, зато и памятники им, книги про них. Хотя, может, он и не был в жизни праведником. Ощипывал ближнего, как гуся худого, а как обожрался до икоты, за праведные дела взялся. Вот я вам, люди, житие свое опишу, как оно мне мечталось, а еще лучше расскажу, как вам надо жить! Веруйте, люди, молитесь, меня вспоминайте. Твои святые, что в книге читала прошлый раз, они что, работали? Дудки! Они лбом об землю бились, чьи-то грехи отмаливали. Исцеляли ладошками, а жрать им кто носил? Сухари и мед, и молоко, и... чего еще там? Вор украл и слопал, а праведник? Не крадет, ему сами приносят, да еще кланяются! Чем, скажи, те, которые власть-то, не праведники? Ну, хорошо, если он в своем деле мастак, а если нет? Если он только про будущее говорит? Гайки ни одной не сотворил, сотки не вспахал, кружку молока не нацедил, как он может управлять мною? Я вот вор, у хромого Фили перекупаю продукты, через тебя в столовую отправляю и разницу в карман. А ему воровать не надо, благоверный народ даром принесет, поклоняется и памятник поставит. Значит, есть и третья мера?

Вадим Петрович встревожено привстал.

— Тот, кто пашет, сеет — он кто? Праведник? Сам посеет, сам соберет, сам отвезет, все сам, а у него и отнимут! Скажут, сиди, не рыпайся, кормил всех и корми, не захочешь, мы тебя к стенке. А за что? Была б моя воля, я и праведников и воров — всех в расход!

— Кого оставишь-то? — прогудела Татьяна. — И тех, и этих, а кто будет?

— Был у нас в деревне один, до сих пор снится, Степка Вершинин, голь перекатная. Речи говорил про мировую революцию, про цепи порванные. До двадцать седьмого года в уполномоченных, половину деревни упек!

Под «контру» подводил, а из реквизированного добра себе хозяйство справил.

Вадим Петрович нехорошо улыбнулся, дернул подбородком, Татьяна исподлобья смотрела, потом осторожно спросила:

— Ну, и чего?

— Потом его рыбы съели, — Вадим Петрович потер пальцем переносицу.

— Какие рыбы? — вздрогнула Татьяна.

— В пруду знаменитые караси водились, вот какие! Теперь спичечная фабрика, караси сдохли.

Долго молчали.

— К Туманковой мужик с фронта приехал от мужа. Самого убили, мужик все рассказал. Старик похоронку спрятал, Тоське не показывал, а мужик вот он!

Вадим Петрович задумчиво водил пальцем по усам.

— Убили Колюшку? Ну, царство ему небесное! Тоська девочка фартовая, не гляди, что троих родила.

— Мужик на костылях, с одной ногой, а красивенький. В наградах весь. Вадька, ты со мной записываться будешь? Грех это, большой грех, говорю, ты по-людски бы, а?

— Туманкова теперь нет, — оставил ее вопрос без внимания Вадим Петрович.

Был у него случай, до сих пор, при воспоминании о Николае Туманкове, прыгало правое веко. Давно было...

Он стоял у дома, смотрел, как в соседний подъезд таскают немудреные пожитки новые жильцы, отец и сын Туманковы. Они были очень похожи, и Вадим Петрович с любопытством разглядывал их.

Вот тут и подвернулся ему под ноги ничейный котенок. Вадим Петрович брезгливо сморщился и отодвинул его в сторону. Котенок заурчал, жалобно промяукал и потерся грязной головой о штанину новых кремовых брюк.

Вадим Петрович отпрянул, с огорчением разглядел появившееся на светлом материале пятно, вполголоса выругался. Аккуратно прицелившись, ударил котенка носком ботинка.

Котенок истошно мяукнул, врезался в стену дома. Он был оглушен и закружился на месте. Вадим Петрович, склонив голову набок, некоторое время наблюдал за потерявшим ориентацию животным, хмыкнул и ударил еще раз. Целил по грязной голове с оттопыренными ушами, но промахнулся, попал по боку.

Котенок не шевелился, когда Вадим Петрович занес ногу для нового удара. Не успел. Его с силой развернули — прямо в переносицу смотрели, подернутые дымкой, глаза Туманкова-сына. Вадим Петрович удивленно поднял брови, беспечно улыбнулся и сказал, ткнув пальцем в лежащего котенка:

— Живучая тварь.

— Ты зачем? — задыхался Туманков.

— Чего? — удивился Вадим Петрович. — А пошел ты!..

Следующее мгновение навсегда выпало из памяти Крючкова.

Удара он не почувствовал, просто мир непостижимым образом перевернулся — крыша дома оказалась под ногами, асфальт подпрыгнул к лицу.

Дворничиха Максимовна вылила на него ведро воды, причитая, растерла грудь и виски нашатырем. Вадим Петрович вяло зевал и сучил ногами.

В далеком детстве он видел, как деревенского пастуха лягнула лошадь, убить не убила, но пастух с того времени стал «не в себе», нес околесицу, беспричинно вздрагивал и ронял все из рук. Вадим Петрович теперь точно, и очень зримо знал, что такое лошадь, лягающая человека.

Тогда он попал в больницу, там и обнаружился феномен Крючкова, освободивший его навсегда от воинской повинности, тяжелых работ и многого другого.

Придерживая ладонью чудовищно распухшую челюсть, Вадим Петрович вошел в приемный покой. Молодой врач, деловито моргая, осмотрел место удара, сочувственно посетовал на нравы улицы и попросил задрать рубашку. Вадим Петрович нехотя подчинился. Врач прильнул к его груди стетоскопом, послушал и отшатнулся.

Лицо его выражало недоумение и испуг одновременно. Тряхнув головой, он улыбнулся Крючкову, приложил стетоскоп еще раз, осторожно подставив ухо. Он шарил инструментом по груди и ниже, по животу, дул в отверстие и потел от испуга.

Вадим Петрович стоял, думая о том, что «подлец Туманков просто так не отделается...».

Заметил суету врача, озадаченно смотрел некоторое время, потом спросил:

— Не в порядке чего?

— Нет! — погрязенный врач откинулся назад. — Нет сердца!

— А-а! — Вадим Петрович придержал болевшую челюсть. — Тут оно.

— Где?

Врач изумленно смотрел, как Вадим Петрович тыкает себя пальцем в правую сторону груди.

— Как оно там оказалось?

— С детства.

Вадим Петрович застонал, проклятую челюсть прямо выламывали клещами, жгли огнем. Он с ненавистью покосился на прилипшего опять к его груди врача.

Феномена затаскали по врачам. Сначала Вадим Петрович пытался увилить, потом присмотрелся к шумихе вокруг его «недуга» и сделал соответствующие выводы. Научился трагически замирать на ходу, хватать ртом воздух и судорожно тереть грудь.

История его болезни скоропостижно распухла. Он научился падать в обморок, при этом дрожал веками и прикусывал кончик языка. Перед началом войны все справки были в идеальном порядке.

Соседи, встречая его на улице, видя, как он тихо бредет, придерживая правую половину груди, словно боясь нечто расплескать, вздыхали и говорили: «Петрович не жилец, этот недолго».

Война началась, когда ему было тридцать шесть лет. Из них семь он провел... Впрочем, об этом не знал никто, а Крючков, он же Махин Иван Данилович, он же

Тишкин Николай Петрович накрепко забыл. Тогда из лагеря в тайгу бежало трое, вышел один...

— Давай спать, красавец! Жениться на мне не хочешь, и черт с тобой. Пойду в органы и скажу, судите, в шайке у воров продуктами занималась! Завстоловой Розе Марковне, сволочи недобитой, таскала, она их по цене несслыханной на сторону продавала... А у Вадьки золото есть и деньги большие, и...

Татьяна не договорила. Глаза бывшей попадьи вылезли из орбит, язык бешено и мелко мотался по нижней губе, а грудь прогнулась. Крепко держал ее за горло Вадим Петрович, наступив коленом на грудь. Лицо его было спокойным и мудрым, так как по странности природной, в минуты настоящей опасности, начисто лишался чувства страха.

Захрипела Татьяна, забила ногами жутко, выгибаясь большим телом, еле оторвала от горла железные руки, чтобы успеть выдать:

— Пошутила! Ой, убил, окаянный!.. Убил!

Сидела на кровати, черное пятно с глаз смаргивала, оно сходило трудно, глаза слезами затекали. И Вадим Петрович сидел, руки свои гладил и нехорошо улыбался.

— Татуська, ты меня знаешь? Выходит, что нет. Куда, ты думаешь, односельчанин мой, Степка Вершинин делся? — Он засмеялся, погрозив пальцем. — Богомольница египетская, ему обидно было, столько лет «вставай, проклятьем заклеянный» пел, а тут из него душу вынимают! Я из него ремней нарезал и к рыбам, поняла? У меня другого хода нет, пожить охота. Война кончится, люди — нищета голимая, а у нас с тобой база есть, поняла? Один великий немец как говорил? Базис, вот как! Ты «Капитал» не читала, и не надо, тебе ни к чему. Эх ты, дурища, разве так можно?

Засмеялся, легко с кровати спрыгнул, к окну прошел. Татьяна недоверчиво, с опаской смотрит, а Вадим Петрович из-под доски подоконника что-то черное достает. И как давным-давно, при аресте попа непутевого,

захолонуло у Татьяны, вздрогнуло оплывшее сердце и приостановилось.

На ладони Вадима Петровича лежал большой плоский пистолет.

— Вадька! — искательно нырнула в его глаза Татьяна. — Брось! Хочешь, в мусорку кину, а? Христом богом прошу!

Она стукнула кулаком в грудь.

— Защемило у меня тут, мамоньки!

Вадим Петрович сел рядом на кровать, помолчал немного и жарко, с придыханием зашептал:

— Все б вам коровками божьими по земле ползать, и заповеди ваши дохлые... «Не убий!». А если он меня убьет? И подыхать с голоду неохота, а? «Не пожелай жены ближнего...». Если слаще она, жена этого ближнего? Мне всю жизнь другого Бога суют, и архангелы его с удостоверениями оперативников по земле шарят! Так что, ждать, пока они меня в рай на казенной машине отправят? Гляди! — Он выщелкнул обойму из пистолета. — Вот сколько у меня помощников, поняла? Я от архангелов с музыкой громкой уходить стану, мне от них не срок, мне от них смерть неминуемая... Дед и отец, они каждый в свое время на селе и боги, и цари были, а я кто? Мразь! За кордон уйти, чего там делать буду? «Шпрехать» не хочу, поняла?

Вадим Петрович вздрагивал телом, лицо искажала судорога, сбегавшая от глаз к подбородку. Татьяна со страхом смотрела на него, ломала костяшки пальцев, трещала суставами.

— Сумасшедший! — наконец, потрясенно выдохнула она. — Ты сам не знаешь, чего хочешь-то!

И притихла в ужасе, глядя, как двигаются вместе с желваками скул хрящеватые уши. Обхватив руками колени, он раскачивался, мутно ворочал глазами и шептал, шептал непонятное, но, наверное, страшное, одному ему ведомое.

В открытую форточку ночная Москва звуками течет — машины шуршат, где-то по мостовой железо тянут,

скрежет противный. Ветерок подул, смятой газетой на столе зашуршал, заворочался.

Кажется Татьяне, что на столе паук лохматый таится, нити липкие расправляет. Кашлянуть хотела, да побоялась, на другой бок повернулась. Все равно спиной страшное чует. Напасть, прямо! Носом в шею Вадима Петровича ткнулась, авось не схватит страшное-то!

— Господи, владыка милостивый, слышишь ли?

— Слышу, спи, четвертый час.

И вдруг Татьяна неотвратимо и ясно поняла — сердце у Вадима Петровича справа.

Учитель вошел в класс и остановился.

Все как обычно, вот его дети сидят за партами, пол и доска чистые, но...

Он внимательно всмотрелся, задумчиво потер переносицу, пошел к столу, на ходу раскрывая классный журнал. Сел, поправил галстук, чуть встряхнул кистями рук, чтобы манжеты рубашки вышли на положенную длину.

По необычному молчанию тридцати пяти учеников он понял, что произошло нечто серьезное, может быть, плохое.

— Здравствуйте, дети!

Класс встал тише, чем обычно, даже крышки парт хлопнули не так.

— Садитесь.

Он едва заметно улыбнулся, тряхнул копной густых, с проседью волос и, положив перед собой на стол руки, сказал:

— Выкладывайте! Вместе говорить не надо, встанет самый заинтересованный в случившемся.

Как по команде все опустили головы. Только Нина Полосухина, самая маленькая в классе, наверное, поэтому самая упрямая, сидела неподвижно, глядя на Учителя с истовым упорством, поджав губы, горела лицом. Вдохнула, поправила воротничок и встала. Заговорила медленно, чеканя каждое слово:

— Яков Александрович, я не имею права учиться в школе.

Учитель слушал, склонив голову, машинально кивая.

— Я понял, ты не имеешь права учиться в советской школе. Не спрашиваю почему, это потом. У меня вопрос, в другой школе имеешь право учиться? Если не акцентировать на слове «советской»?

— Вообще? — Полосухина растерянно оглянулась. — В школе? В какой?

— Поскольку других школ, кроме советских, у нас в стране нет, поэтому мой вопрос чисто теоретический. Смогла бы учиться в капиталистической школе, на это у тебя прав хватит?

Нина покусывала губы, красные пятна с лица почти сошли, вздернутые плечи опустились, что Учитель с удовольствием и отметил.

— Значит, права учиться с нами, у тебя нет. Теперь вкратце, что произошло, почему у вас противные физиономии, словно смотрели в замочную скважину, а вас застали? Нина, быстро!

— Моя мать вышла замуж за немца! — ответила, бледнея, Нина.

— Ну? — нетерпеливо прикрикнул Учитель. — Вышла замуж, так что?

— За немца, Лемке его фамилия, а в паспорте я посмотрела национальность!

— Твоя мама ездила в Германию?

— Он здесь, в Москве, инженером работает военным, а в Германии ни разу не был. На Волге жил, и сюда вот приехал.

Нина презрительно оттопырила губу, глаза ее сузились.

— Ботинки мне принес и пенал, еще фотоаппарат! Ботинки и пенал я в унитаз бросила, а фотоаппарат мать не дала!

Учитель долго молчал, с интересом разглядывая девочку.

— Если бы чуть больше лет, я бы решил, что вы законченная и неисправимая дрянь.

Говорил тихо и медленно, от этого каждое его слово падало, как камень в неподвижную воду.

— Работает военным инженером, следовательно, на оборону, так?

— Он немец! — выкрикнула Нина, подавшись вперед, прижав руки к груди.

— Имеет советский паспорт, значит, Родина доверила этому человеку многое, в том числе, и свои секреты. Вон из класса.

— Что?

— Я говорю, вон из класса! Умыться, высморкаться и вернуться, вечером извинишься перед матерью и отчимом. В противном случае прошу в нашу советскую школу не ходить, ясно?

Она пошла по проходу, Учитель отвернулся к окну.

Лицо его было скорбным и суровым. Ему так хотелось обнять эту крохотную девчушку, прижать ее непутевую голову к себе, заслонить от всего света, от этой войны, от недоедания... Как не хватает им нежности, доброты и внимания, детям войны. Потому и колючи их взаимоотношения друг с другом, потому так трудно пробиться в их души.

— Вам по пятнадцать лет, взрослые и понимающие люди. В жизни, как в математике, там логика математических обращений, в жизни — логика поступка. Ненависть к фашизму священна, а фашизм — это система, которая должна быть уничтожена за свою звериную суть. Но, помните, мы не воюем против немцев. Это трудолюбивый и великий народ, народ поэтов и музыкантов.

Учитель оглянулся на открывшуюся дверь.

— Садись. Ботинки и пенал из унитаза вынь, они тебе пригодятся. Я расскажу вам историю, происшедшую с одним юношей. Его дед был портным, но умел умножать в уме четырехзначные числа и извлекать любые корни из любых чисел... Юноше было нужно посмотреть белый свет, в котором творилось нечто невообразимое. А была всего-навсего Гражданская война. И юноша пошел пешком по ее извилистым дорогам, звали его Яшка. В

мешок он сунул буханку, две луковицы и страницу из Талмуда. Есть такая книга, где описывается то, чего быть не могло, но хотелось бы, чтобы было.

— Сказка, что ли? — спросил кто-то.

— Так вот, была Гражданская война...

...Купались в реке красные кони. Голые красные кавалеристы садились на них, съезжали с зеленого берега в синюю воду, со смехом падали, и красные брызги повисали под большим оранжевым солнцем.

А на берегу, широко расставив ноги-столбы, закусив черный ус, стоял полковой командир Мазурок и взросло хмурился. Было Мазурку восемнадцать лет, были это его первые усы после нещадного годичного бритья и втирания коровьего масла...

Солнце кипятком землю шпарило, от кавалерийского гогота птицы за версту прятались, а Мазурок хмурился.

Скинул бы он пашку тяжелую, сбросил бы деревянную варезку, где черный маузер ствол-палец затаил, да в воду! Но жалко командирское достоинство терять. И пяти часов не прошло, как сам Навуменко, комдив-два отчаянный, его руку тряс, хорошие слова задушевно сказал и в его первые усы трижды по-отечески целовал.

Дело славное вышло. Полк на полк с белыми казачками схлестнулись. Мазурок с братвой на полной рыси в лощину влетел, а навстречу казаки. Красные ребята влево, те вправо и...

Пошло, поехало!

Казаки народ ушлый, что по джигитовке, что по упряму. Казак спяна лют, а у мазурковских ребят пашки к ладоням гвоздями сознания намертво прибиты. Мазурок недаром им продыху не давал, с коней только по нужде ссаживал, на лозе рубить учил «с потягом, с вывертом».

Положили казачков, как худую траву с поля вынесли.

Мазуркова ординарец Митяй Рогов, косячным жеребцом взвизгивая, в обход белых три тачанки погнался, сам

на передней угнездился. Эти три тачанки и поставили в донесении комдиву жирную точку.

Митяя Мазурок всенародно благодарил и зажигалку на память из рук в руки передал. Редкая вещица, с виду статуэтка, а нажмешь грудку бабе заморской у нее изо рта огонь — пых!

Этот Митяй и гоготал в реке больше всех. Бороться с коноводом Нестеренко затеял. Тот бугай и этот не меньше, всю воду взмутили, а народу передавили — не счесть...

Полк в деревне Вязовка стал. Ребят по хатам быстро расхватили. Жители натерпелись под белыми-то, половина поротых, другая угнана.

Мазурка за плечо кто-то дерг. Смотрит, старуха ветхая, юбка на ней от старости мохом проросла, платок дырявый... Мутными глазами на Мазурка глядит, на палку опирается.

— Тебе чего, мать? — Мазурок на озорство своих бойцов смотрит.

— В вашей коммунишки ворье и жуликов наказуют, или как у белых?

— Каких жуликов? — вяло слушает Мазурок.

— Если упрут чего солдатики твои, будет им кара, ай нет? — шамкает и покачивается на тонких ногах старуха.

— Чьи солдатики, и зачем они чего-то упрут?

Как раз в это время Митяй оседлал Нестеренко и уздечкой, ровно лошадь, погоняет. Нестеренко ревом кричит, больно, видать, уздечкой по голому! Народ со смеху валится. Мазурок смешные слезы утер, на ногах-столбах к старухе развернулся:

— Так кому кара-то, мать, при чем здесь мои солдатики?

— Тьфу, ты, боже ж мой! Твои солдатики, ты командер-то, чьи же, как не твои? Я им кислое молоко и каравай скормила, а они три десятки из-под божницы уперли. Золотые десятки-то, надьсь, Петруша, сын мой, подарил, одна-то мечена, как есть в ребре рванина. Вели отдать, грех вам за старуху будет.

И потек густой краской с лица юный Мазурок.

Бледностью засветился, потому, как в его полку о таком не слыхали. Расспросил старуху дотошно, подумал несколько, и Пузана Сашку, что ребят по хатам распахивал, подозвал. Его выпросил, на старуху кивая, зубами поскрипел, что-то коротко приказал.

Семеро ребят голых перед Мазурком встали. Остальной наличный состав вокруг столпился. Мазурок обстоятельно старухину жалобу пересказал, объяснил, что эти семеро, как раз, в ее хате остановились, харчились и пожитки там складывали... Помолчал и, не глядя на семерых, рубанул:

— Короче, который в сйной, вот этой старухи, хате червонцы ее звезданул, шаг вперед!

Семеро переглянулись недоуменно, и никто не шагнул. Мазурок глаза поднял, каждого в отдельности пристально оглядел, потом велел Сашке Пузану «ихнис шмотки сюда волочь, потому проверим». Сашка плюнул зло и демонстративно на корточки сел, закуривает. Но Мазурок так на него глянул, что Пузана ветром сдуло.

Принесли. Всю солдатскую амуницию — справу, даже конские потники, седла, уздечки тут же сложили.

— Осмотреть! — Мазурок Пузану приказывает, сам стоит недвижно.

И выпали зловредные червонцы из сидора Митяя, со дна покатались, даже не завернутыми оказались. Пузан червонцы поднял, с ладони песок сдул, подержал, открыв рот. Мазурку протянул, а тот не взял, на ногах-столбах к старухе повернулся.

Старуха зашамкала, захохала, с руки Пузана деньги сгребла, один, который с рваниной на ребре, выкатила и Мазурку показывает. Потом к Митяю, на которого все смотрели, шагнула и в лицо плюнула. Митяй увернулся, на старуху черно выругался, кулаками над головой машет.

Такая тишина выпала, что слышно, как Мазурок зубами скрипит, они у него часто болели, шалфеем-травой спасался.

— Браты! Мне вам говорить такое нехорошо. Революционная требуха в нас есть? Есть, это мы показали в боях с белыми гадами. Наша совесть — это что? Это есть диктатура над нашим духом и телом. Ты, Митяй, твоя фамилия Рогов, мы тебя все знаем, рубил ты сегодня белую сволочь, и за пулеметом был, тебе наша благодарность. За то тебе, Митяй, был подарок, моя зажигалка-память, но...

Мазурок палец поднял, строго смотрит.

— Прикуривать от нее ты, Митяй Рогов, не будешь.

Засмеялся Митяй, вокруг поглядел, никто ему ни взгляда, и на смех никто не ответил, неловко вышло. А многие отвернулись.

— Смех твой нехороший, Рогов, вражеский смех, — Мазурок волнуется. — Есть ты мародер, опозоривший родной полк и своего командира, что с тобой из одной миски ел, как с ординарцем и бывшим другом.

— Чего?

Митяй кулаки сжал, того гляди бросится. Но Сашка Пузан мигнул, и по бокам у него двое с винтовками встали.

— Судить тебя будет полк, ему ответишь. А вот скажи, как ты смотришь в глаза этой крестьянке, что тебе хлеб скормила, кислым молоком твою утробу сытила?

— Да пошел ты, мало ль чего эта гнида наболтает! Глупство все, Вань, не брал я ейных червонцев, не могла такая шкода в моем мешке быть. У-у, зараза, и в морду плюнула! Почему твои деньги в мой сидор попали, а ну, говори? Молчишь, пошла отсюда, старуха!

Митяй кулаком страшным перед старухиным носом поболтал.

Как из деревянной варежки маузер выскочил, этого никто не увидел. Митяй глаза васильковые прищурил, что-то сказать хотел... Громыхнул маузер — и не стало Митяя.

Красные кони сами на выстрел из воды пошли — ученые.

Не успел Мазурок маузер в кобуру кинуть, как в шимерший круг человек ворвался. Орет что-то, в старуху пальцем тычет, чуть в глаз ей не заехал, слюна во все стороны, и сам слезами умывается...

— Чего ему? — Мазурок устало спрашивает.

— Яшкой зовут. Ой, мамочки, что ж наделали-то! А-а! Она сама, я ж через окно видел и на нее удивлялся, лачем монеты ему в мешок сыпет? Сначала много было, штук двадцать, может, больше, а потом она выгребла, а три кинула — я ж сам видел-то!

— Что сыпала? — страшно и тихо спросил Мазурок, царапая рукой горло.

— Деньги, говорю, золото это. Провокация, товарищи, у нее сын в беляках вахмистром! Что наделали, что наделали, черти вы драповые!

Мазурок Яшку из рубахи вытряхнул, железной рукой так мотнул, что у того ноги на миг от песка взлетели. Жестоко и безумно в еврейские бездонные глаза посмотрел. Отпустил, к старухе медленно повернулся, белыми губами дергает.

А старуха скисла со смеху, в лицо Мазурка хихикает, на лежащего ничком в песке Митяя скрюченной рукой показывает.

— Петрушу, сыночка, идолы убили? Помянула его, а там и власть ваша, что хотите, делайте! Петруше на небе икается.

Пошла старуха, ноги по песку волочит, юбкой, мхом поросшей, след заметает. Еще раз гроыхнул маузер, бросило старуху лицом вниз, руками оперлась, перевернулась и села. Одной рукой себя подпирает, другой Мазурку грозит, потом бойцам, потом небу синему — это ее к земле муть смертная потянула. Опрокинулась и застыла.

Молча стоят люди, смотрят потрясенно. Взлетел над толпой истошный крик Сашки Пузана и оборвался. В третий раз гроыхнул маузер — и не стало Мазурка. Брызги красные полетели на рядом стоящих людей.

Красные кони испуганно заржали.

Зазвенел звонок.

Вышел класс на перемену, а Учитель все сидел за столом, бездумно листая журнал.

...Бежал через поле дохляк Яшка, кричал, что есть силы, спотыкался и падал, вставал и снова бежал...

Гремел маузер Мазурка. Разворачивался он во все стороны на своих ногах-столбах и палил, палил, палил. Вколачивал вечные гвозди в нескончаемую ленту памяти...

— Кого?

Пенкин молча рассматривал Старика. Он был удивительно похож на своего сына — обвислые необъятные плечи, клешнятые руки и клочья бровей, те же губы жесткого излома и глаза, глубоко сидящие в глазницах.

Старика насторожило молчание одноногого, он внимательно взгляделся, открыл дверь шире, шагнул на лестничную площадку. Поймал взгляд незнакомца, бледнея и кривясь, шепнул:

— От Николая?

Пенкин кивнул, набрав воздуха в пересохшую гортань, сглотнул нечто шершавое, комком, не дающее дышать. Старик быстро оглянулся, прикрыл дверь.

— Звания не знаю, простите старика, там Тося и детишки! Вы от сына, а они не знают, солдат. Тося повалится, нельзя ей, вы же про Колю?

Он жадно и заискивающе заглядывал Пенкину в глаза, на худой шее пульсировала большая старческая жила. А в ушах застывшего Пенкина, хрустел снег, гнулись в спирали огненные пунктиры трассирующих пуль, и не было выхода.

— Не надо, — попросил Старик, трогая шинель Пенкина трясущимися руками.

— Надо, отец, — хрипнул Пенкин и оскользнулся костылем, поправился и жестко повторил, — надо.

И сникли вздернутые плечи Старика, он открыл дверь.

Вел свой рассказ Пенкин неторопливо, прикуривал одну папиросу от другой. Молча сидела Тося, сложив руки под застиранным фартуком, прислонившись затылком к стене, запрокинув красивое лицо, разглядывала одной ей видимую точку на дверце старинного буфета.

Только раз, не то застонала, не то всхлипнула, когда Пенкин выложил из мешка финку, портсигар и мундштук Николая. У двери стояла крошечная Соня, шатала пальцами молочный зуб, хитро шурилась и пускала струйку слюны. Старик опять ел соль, брал щепоть и клал под язык, мертвел глазами.

Пенкин встряхнул мешок, достал несколько кусков мыла, три буханки хлеба, ворох заграничных консервов, положил на стол тоненькую пачку писем, стянутую цветной, иноземной выделки резинкой. Покосившись на Тосю, встал, чтобы переложить банки на подоконник, зацепился за табурет и загремел на пол, нелепо взмахивая руками.

Старик не пошевелился, помогла встать Тося, усадила, подала костыли. Пенкин виновато улыбался, долго раскуривал папиросу, раскурив, недоверчиво смотрел на огонек.

— Где остановились? — спросила Тося замороженным голосом.

— В госпиталь приехал, нога отрезанная болит. Врачи говорят, «фантомные боли». Это когда отрежут, а кажется, что есть она, болит, зараза, хоть плачь! На вокзале перекантуюсь, или еще где.

Старик повернул голову, оглядел пустую штанину, протянул руку, взял ближний костыль.

— Планку надо ниже переставить, упор глубже вырезать, чтоб плечо тонуло.

Пенкин кивнул, затягиваясь дымом по самое некуда.

И закричала Тося. На невыносимой ноте, с персбором слившихся в целое непонятных слов, надрывно и страш-

но. Прогнувшись худеньким телом, уперев в колени побелевшие руки, вскинув вверх сведенное судорогой лицо...

Перепуганная Соня мелкими шажками отступила в коридор, где тут же села на пол выковыривать из щели какую-то щепочку. Потом стала вторить матери. Мужчины сидели молча, понимая, что ни слов утешения, ни воды, ни, тем более, сочувственных причитаний, не требуется.

И метался Тосин крик в их сердцах стозвонным, печальным эхом.

Резко оборвала себя Тося, пусто посмотрела вокруг, встала, чтобы на руки взять дочку. Долго длилось молчание. Тося тихо проговорила:

— Жора у нас поживет. Пока в госпиталь положат, недели две-три пройдет, забиты они, госпиталя-то. Раненых некуда класть, пап, покорми человека, я пойду.

— Куда? — испуганно привстал Старик.

— На улице Пашку с Кешкой поищу, посидите, чай горячий.

Она ушла с Сонькой на улицу.

Старик налил Пенкину варева из пшенки с картошкой, заправленное селедкой, сел напротив. Пенкин смотрел в окно. На отрезанной ноге болел большой палец. Он так и чувствовал проклятый ноготь, что постоянно врастал у него с детства в нежную мякоть...

— Ешь.

— Водку будешь, дед? На «Вальтер» трофейный сменял у барыги.

— Давай.

Пенкин достал из мешка бутылку странного коричневого цвета, заткнутую самодельной пробкой из сучка дерева.

— Это чего такое? — изумленно смотрел Старик на бутылку. — Какая это водка?

— Пей, я туда «какаву» из брикета размял, хотел в госпиталь с собой взять.

— С «какавой», значит? Ну, давай, потянем.

Вышили молча и быстро.

Пенкин смотрел, как судорожно прыгает кадык на носу Старика, серебрится отросшая щетина, и думал, что самое несправедливое в войне — это старость родителей, переживших своих детей. Да и можно ли искать справедливости в таком гнусном и кровавом деле, как война?

Ночью Пенкин не спал.

Вставал к окну, курил в форточку... И вспоминал, как все это произошло. По чьей воле так быстро и страшно окончилась для него эта долгая война? И жалел, что не убит в том коротком и жестоком бою за деревню со смешным названием Петунькино.

Вытащил его тогда из боя фельдшер Насонов, перетянул ногу поясным ремнем и с ходу влил в перекошенный рот Пенкина полфляги чистого спирта.

Пенкин хрипел по-звериному, ворочал белками закотившихся глаз, судорожно вытягивал жилистую шею. Очнулся в медсанбате, вдребезги пьяный. Бестолково оглядевшись, стал орать, требуя фельдшера и обещая «выдернуть ему все ноги». Свои ноги он не чувствовал.

Горбоносый хирург, проглатывая букву «р», долго и тоскливо его ругал, повторяя слово «дисциплина», намывал руки, покуривая от папиросы, которую держала перед ним пинцетом сестра.

Пенкин куражился, требовал немедленной отправки в часть до тех пор, пока небритый пожилой санитар не остановился над ним:

— Чего гнешь из себя? Разорался... Товарищ майор неспамши третью ночь, какую по счету операцию делает, а этот... Ногу тебе оттяпают, вот и погребешь отсюда.

— Выйдите, Мухин! — зло перебил его хирург.

Пенкин притих, насторожился, стал смотреть на хирурга.

— Слушай! Я тебе спирту дам двести грамм, неразведенного, а? Только залпом, понял? Мне обезболить тебя нечем. А спирта много, две канистры, хоть залейся. Выдержишь?

— А чего с ней? — облизал сухие губы Пенкин.

— Кусок кости вынесло, вот чего, мышцы порваны. Сестра, стакан спирта. Так как, солдат, выдержишь? Перекорезили ногу, а машина только завтра будет, может, и не быть вовсе.

— Куда ж ее, ногу-то, в таз, что ли? — усмехнулся Пенкин.

Хирург внимательно всмотрелся в осунувшееся лицо раненого и, помедлив, кивнул.

— Тогда хлеба чуток, — Пенкин скрипнул зубами, — зажевать, а то с души сорвет. И чтобы гад Мухин ваш не встревал, зашибу.

Потом он нес околесицу, бессчетно проваливался в страшные ямы, из его тела «тянули жилы и мотали на барабан». Он всхлипывал и просил пить. Небритый санитар Мухин осторожно, с головы, лил ему в рот выжимку воды с марли, отирал губы.

Низ тела онемел, возле паха рос сгусток непереносимой боли, набухал и взрывался так отчаянно, что Пенкин обмирал. Приходя в себя, ширил невидящие глаза, ловил ртом воздух.

Когда его несли из операционной, он еле удерживал сознание. Последнее, что услышал, это гортанный голос воснврача-хирурга: «Как несете, головой вперед надо, развернитесь!».

Его ногу завернул в кровавую тряпку и унес куда-то все тот же нерасторопный Мухин.

Пенкин в это время шел в атаку. Рассветное море прыгало в его воспаленных глазах. Он орал, метался из стороны в сторону от огненных струй, вылавливал возникающие впереди рогатые силуэты.

Стрелял, пытаясь настигнуть в неистовом беге уходящее за ледяную черту горизонта, лохматое и стремительное в зимнем излете солнце.

Выслушав очередной отказ в госпитализации от похожей на высохшую в кость ржавую воблу, дежурной приемного покоя, Пенкин хмуро кивнул, поплелся в гулкий госпитальный вестибюль, где и угнездился надолго на

скамейке, покуривая в кулак, поглядывая вокруг неприязненно и отчужденно.

Рыжая сестричка просеменила по вестибюлю с лотком в руках. За ней вязался здоровый парняга в пижаме, с лысой головой в зеленке пятнами, что-то говорил сестричке, та хихикала, жеманно дергала плечиком, отмахивалась полотенцем.

Пенкин оглядел сытую, гладко выбритую морду ухажера, увидел кокетливо округленный рот медсестры и...

Лысый в зеленке отлетел на добрых два метра, перед ним, неизвестно откуда, выросло лохматое чучело на одной ноге, с угрожающе поднятым костылем в руке. Чучело орало про «окопавшихся фрасров и крыс», которых оно «давило на фронте пачками».

Отовсюду бежали в белых халатах. Сестричка плакала навзрыд, по ее щекам текли подтеки туши. Нянечка уговаривала почему-то не Пенкина, а сидящего на полу лысого парнягу, другая нянька висела на руке Пенкина, зажавшего костыль, которым он пытался зацепить ухажера, кричала, чтобы он «не смел трогать Левушку, он герой и душевнобольной фронтовик!».

А Левушка в зеленке беспомощно улыбался, по-детски «гукал» и хлопал в ладоши. Потом лицо его жутко изменилось, он вскрикнул, стал озираться.

Пенкин замолчал, оторопело глядя, как здоровенное тело парняги изогнулось рыбиной, забилось, ударяя о пол лысым затылком и пятками с тупым стуком. Мотался прикушенный язык, с губ летели клочья пены. Плачущая сестра коршуном упала на больного, вцепилась двумя руками ему в челюсть, пытаясь разжать.

Кто-то сунул ложку, она ловко втиснула черенок между намертво сцепленных зубов, стала действовать как рычагом.

На Пенкина наорали и отвели к завотделением, зеленому от недосыпания майору. У него был тяжелый взгляд человека, уставшего смотреть на боль людей, которым он не в силах помочь. Внимательно выслушав

Пенкина, просмотрел документы, положил в стол. Выпил из графина воды прямо из горлышка, и жестом велел Пенкину следовать за ним.

Раненые лежали на полу, в проемах коридора, и даже на лестничных площадках, не говоря о палатах, где повернуться было некуда.

Остановились в проходе коридора, майор что-то хотел сказать Пенкину, как в палате кто-то страшно закричал. Майор махнул рукой и прошел в палату. Пенкин огляделся...

У окна, на кровати, сидел молодой парнишка в рваной тельняшке. Он сидел с ногами, завернув матрац, как бруствер, выглядывал из-за него настороженно и зло. Через лоб тянулся и исчезал за ухом багровый широкий шрам, в точках недавно снятых швов.

Парень через паузу поднимал воображаемую винтовку, прицеливался, надув щеки, цокал языком и вздрагивал, как видно, стрелял. Выстрелив, смеялся громко и счастливо, оглядывался вокруг, говорил «еще один», вытягивал губы трубочкой.

Пенкин невольно посмотрел в ту сторону, куда целился парень — на стене висел плакат, где румяный солдат нанизывал на огромный штык целую свору гитлеровцев во главе с Адольфом. Голова фюрера была обведена большим черным кружком.

Сзади подошел майор, молча встал. Потом обратился к парню:

— Ты, Тимонин, лекарство пил?

Парень вздрогнул, виновато сморщился, собрав страшный шрам гармошкой, усиленно зашевелил бровями, как видно, пытался осмыслить вопрос.

— Седьмой нынче, — он ткнул пальцем за спину майора, на плакат.

— Благодарю за службу! — неожиданно серьезно сказал майор.

У Пенкина ознобом охватило спину. Он отступил, задев костылем горшок на полу. Парень радостно за-

моргал, залопотал горячо и быстро, гусем вытянул шею, наверное, вспоминал положенные в таких случаях уставные слова, но не вспомнил, широко открыл рот, дрожал лицом.

— Не имеешь права не пить лекарство, какой ты после этого солдат? Сестра!

Подошла сестра, подала приготовленную мензурку, словно ждала, чтобы ее позвали. Майор принял мензурку, ненавидяще оглядел сестру.

— Давай, Тимонин, раз-два, ну!

Парень с трудом проглотил лекарство.

— Он только у вас и пьет, товарищ майор! — возмущенно сказала сестра. — Что я могу сделать?

— Идите за мной. — Кивнул майор сестре.

Они вернулись в кабинет. Пенкин встал у двери, майор сел за стол, сестра, скорбно поджав губы, остановилась напротив.

— Запомните, Богатырева, — майор тихо постукивал пальцами о бок графина, — если я еще когда-нибудь узнаю, что вы пропустили назначение или задержались с ним... Если я...

Он поднял голову, бешено мотая перед своим лицом растопыренной пятерней, выкрикнул:

— Под трибунал пойдете! Под трибунал, понятно?

Сестра выпшла, переваливаясь по-утиному, невозмутимо поджав губы.

Майор долго молчал, потом спросил, не поднимая головы:

— Все видели? Некуда мне вас класть. Психовать не надо, ваши фантомные боли пройдут, нужно время. Не знаю сколько, надо терпеть, а класть, сам видишь...

— А этого, парня, что стрелял, его как, вылечите?

— Кого, Тимонина? Нет. Такие, к сожалению, дела. Тимонин, он молодец, он воевал хорошо, он...

Неожиданно Пенкин обнаружил, что майор засыпает. Разговаривает с ним и засыпает. Пенкин попятился, выдал тугую дверь и вышел в коридор, плотно и тихо прикрыл ее за собой.

Когда выходил из вестибюля госпиталя, навстречу попался Левушка с лысой головой в зеленке. Он тихо брел, блаженно улыбаясь, губы его были густо замазаны все той же зеленкой, на щеке багровела свежая ссадина.

Пенкин хмуро оглядел его и отвернулся.

Чувство вины не покидало его очень долго. Больше в госпиталь не ездил.

Вадим Петрович, вымученно улыбаясь, стоял у подъезда, навалившись спиной на дверь, смотрел на Учителя.

— А вы все в школе, Яков Александрович? О жене с дочкой вестей нет?

— Нет.

— Может и обойдется. У Шишкиных два года сестра молчала, а недавно письмо. Оказывается, с партизанами, где-то под Киевом выходила. Может, обойдется.

— Извините, опаздываю.

Вадим Петрович с застывшей улыбкой на губах проводил глазами сутулую фигуру Учителя.

«Вроде, не старый мужик по годам, а как свернуло! А ведь праведник в делах, самый, что ни на есть праведник. Хлопни по лбу — мокрого места не сыщешь, в чем душа держится? «Мы кузнецы и дух наш молод!». Дух молодой, а ветром шатает... И вам питье горькое уготовано, где жена, где дочь — переживаешь, ночами не спишь. Может, и неправедное питье, а хлебаете досыта».

Хромой Филя из-за дома выкорячился, припадает при шаге всем телом, к Вадиму Петровичу рот в гнилой улыбке выставил.

«Склабишься, гад, иди-иди, я тебе улыбнусь!».

— Чего звал?

Вадим Петрович вялую руку брезгливо пожал, оглядел «товарища» — из-под козырька кепки ко лбу челка прилипла, глаза суетливые, большой, вислый нос, под носом щетка усов, аккуратно стриженных, щель рта и скошенный подбородок.

А больше всего Вадима Петровича родинка у Фили раздражает. Мохнатая, как огромная муха, села на щеке, на уровне уголка рта, так и хочется прихлопнуть.

Отвернулся Вадим Петрович и пошел в сторону сквера, на ходу потирая левую грудь, по привычке, как и положено неизлечимому сердечнику, сам проворно вокруг глазами постреливает.

Сели на скамейке. Вадим Петрович глубоко, основательно, Филя на краешек, хромую ногу пистолетом выставил, настороженно посматривает.

— Я когда о машине велел договориться?

— Петрович!

— Ты думаешь, гнида, у меня две жизни впереди? Я что, на ветер слова бросать буду?

— погоди!

Филя влажные глаза прищурил, ближе придвинулся.

— Постреляют нас, инкассатор при «пушке», с ним два с автоматами — это ж банк, Петрович! Постреляют, и на два шага не пустят!

— Не каркай.

Вадим Петрович повернулся, в суженные глаза собеседника заглянуть попытался, не успел. Тот отшатнулся. Но Вадим Петрович кривую усмешку заметил и дрожащую щеку.

— Никак в прятки играть вздумал? Или кодлу другую собираешь, меня обойти-объехать?

— Зачем? — голос у Фили спокойный. — Мы с тобой повязаны...

— Сколько твой шофер просит?

— Говорит, треть.

— Чего? — Вадим Петрович изумленно присвистнул. — Он не спятил?

— Машина его, без машины от пули не убежишь.

Долго молчали.

— Треть, говоришь? — Вадим Петрович ноготь покусывает. — Будет ему треть, может и больше будет.

— Петрович, свояк он мне.

— Твоя доля не убежит, не бойся. Значит, внимательно слушай. Машина должна быть ровно в восемь, ни минутой позже. Ты с хромой ногой будешь в машине, вместе со свояком, так надежней, что не уйдете в случае шухера. Смотри, никаких сюрпризов, с того света выцарапаю, мне рано туда, но мало ли. Если что, молись своему Богу, чтобы он нас никогда вместе не свел, я из тебя ремней нарешу. Ровно в восемь. Как я стреляю, знаешь, первая пуля тебе, если что.

— Заладил, — Филя усмехнулся.

— Не щерься! Машину на угол, оттуда обзор хороший, и стволом поддержишь, если что, как раз окажетесь. Они «мама» сказать не успеют, мы их завалим. Пошел я.

Вадим Петрович ушел, а Филя сидел, шурился и думал.

Он был из тех «щук», что выныривают в смутное, кровавое и страшное для народа время. Рождаются тихо и незаметно в омуте бед, нехваток, страданий и горя.

Исчезают, набив брюхо, отсиживаются в укромном месте, отрыгивая уворованное, нажитое на людском несчастье.

Если бы нашелся кто — напомнить Филе страницы его смутной биографии, то он удивился бы больше его самого.

Потому что не помнил он ровным счетом ничего. Не мог помнить, до того страшна и кровава была память эта. Не дала бы она выжить хромому, свела бы его в сумасшедший дом, или разорвала бы сердце. Лопнуло бы оно, разбрызгивая вокруг себя зловоние и смрад.

Было время, гулял он в карателях «волчьей сотни». Убивал и травил, проделывая это легко и бездумно, не заботясь ни о чем, ни на что не надеясь.

Мимоходом пристрелил собственного брата, когда в полуразрушенной церкви на Украине набрали на клад церковной утвари, риз, икон и золота, наспех закопанный под стеной часовни.

Клад у Филя отобрали на нужды «белого движения», самого едва не шлепнули за «сокрытие». А брат остался под часовней с простреленной головой, раскинув руки на скомканной, окровавленной поповской ризе...

В тридцатом его чуть не изловили. Но ушел он, подволакивая раненую ногу, по-волчьи рыча и щерясь, оглядывая трупы двоих военных и месиво третьего, разнесенного гранатой в клочья вместе с лошадью.

Долго его след тянулся по древним лесам Западной Украины, где скитался он с бандой таких же выроdkов, потом затерялся. Кто мог узнать в худом, увечном заморыше, скромном кладовщике мясокомбината бывшего карателя? Ушел бы он к Гитлеру, но пуля погибшего засела в колене. Старел Филя, старел и его страх.

Крючкова не боялся, позволял обзывать и помыкать собой из фарисейского чувства самоунижения, которое взял за основу взаимоотношений с ним. Но если бы тот на миг заглянул в душу «робкого» Филя, то содрогнулся бы и навек оставил в покое.

Мог ли он догадываться, что бывшему коннику «волчьей сотни», ничего не стоит прирезать «сердечника» — так, мимоходом, между двумя затяжками «Казбека», до которого был большой охотник.

Это Филя берег на потом, когда отпадет надобность в пронырливом и удачливом «вожаке».

И не мог знать Крючков, что готовящееся ограбление инкассаторов банка должно стать последней точкой в его биографии. Три часа просидел Филя со свояком, «репетируя» дележ денег.

Устроился Пенкин на деревообделочный завод завскладом.

На третью неделю после приезда предложил он Тосе пожениться. Ничего не поняла при том разговоре обезумевшая от горя Тося, стояла в кухне, смотрела припухшими глазами, а из-за спины выглядывали Пашка с Кешкой, строили рожи, хихикали и бестолково пихались.

Пенкин, увидев как махнула на него Тося подвернувшимся полотенцем, и вышла, устало плюхнулся на табурет, глядел на стену.

Появился Старик, долго ходил кругами вокруг Пенкина, присматривался. А вечером выманил его из комнаты, таинственно подмигивая, озираясь на Тосю, сидящую с ребячьей штопкой. Пенкин удивленно поднял брови, нашарил костыли, пошел за Стариком.

Старик торжественно улыбался, вытягивая из-за батареи в коридоре бутылку самогона.

— А праздник-то чем отмечать будешь? — усмехнулся Пенкин.

— Был бы котелок, — Старик постучал себя пальцем по лбу, — а что налить найдется. Тоська бы не учуяла, она на это дело строга, под землей чует.

— Пап!

Из комнаты вышла Тося, встала, скрестив руки, смотрела огромными, синими, как два озера, глазами.

— Тоська! — потрясенно выдохнул Старик. — С Жоркой мы тут... говорим.

Он суетился, проворно пытался за спиной у себя пихнуть бутылку обратно, едва не уронил, даже каплями пота покрылся от испуга.

— Разбей, разбей! — с готовностью покивала Тося. — Вы что же, мужики, за кого меня держите? Я полчаса смотрела, как ты ему знаки подавал, изморгался весь! Ты, пап, если что скрыть хочешь, об этом весь свет через секунду знает. Закусывать чем будете?

— Консервы откроем! — брякнул Старик и испугался.

Был он, по-военному времени, прижимист. Считал себя «едоком напрасным», оттого тощал с каждым месяцем все больше, оставляя лучшие куски снохе и внукам.

— Тось, мы чуток, что останется — на суп пойдет.

— Пап, не по-людски это. Может, и я грамм выпью. У Старика от удивления рот открылся.

— Ты? Господи, ты ж не нюхала сроду!

— Вот с вами сегодня и нюхну.

Через десять минут Старик довольно оглядел стол.

Живем, ребята, и мы, и мы по-людски!

Пять картошек, луковица, кружками нарезанная, три воблы почищены, хлеб, и совсем уж роскошь — яичница «из американских курей нетоптанных яичного порошка», как говорил Старик.

— За что? — подняв граненый стаканчик, строго спросила Тося.

Старик растерянно посмотрел на Пенкина, хотел что-то сказать, но осекся, стал озабоченно стирать с клеенки несуществующее пятно. Он делал это старательно, даже подышал на него, Тося не выдержала и фыркнула. Пенкин растерянно на нее поглядел, потом на Старика, и тоже засмеялся в голос.

Старик удивленно поднял голову, персвел взгляд от Пенкина на смеющуюся Тосю, понял, что над ним, и не на шутку разозлился:

— Юроды, черти! Палец покажи, ржать будут, о, дети малые... Господи, сели, как люди, а они? Ну, бабам простительно, а тебе-то? Лейтенант фронтовик. Подымай-те стаканы, не то уйду от вас!

— За что, пап? — спросила Тося.

— За тебя с Жоркой!

Бухнул Старик, испугался, вытаращил глаза и маханул водку в рот. Поперхнулся, закашлялся, встал за водой. Пил, глядя на Тосю и Пенкина.

Тося медленно, без улыбки, подняла глаза на Пенкина, выжила быстро, не ощущая вкуса, как воду, а Пенкин вспотел ужасно, елозил под столом единственной ногой, искал, за что уцепиться. Нашарил ножку стола, уперся, немного успокоился. Выпил, глядя перед собой.

— Жорка, — Старик сел, — ты ногу все еще чуешь?

— Всю. Как кровь в пальцах стучит, икру сводит. Мозоль была на пальце, так и ее чувствую, саднит. Это я сапогом натер, по болоту из окружения выходили.

Старик машинально жевал воблу, заедал картошкой, деликатно оставляя «консерву и яишню» молодым.

— Тоська! — хватился Старик. — Не сиди чучелом, наливай! Эх, гуляем, ребята! Жорка, чего она такая сдобная, а?

— Кто? — испугался Пенкин, покосившись на Тосю.

— Водка, кто же! Да не смотри ты на нее, чего на бабье племя пялиться? — Старик настроился на воинственный и крикливый лад. — Тоська, раз сидишь с мущинами, чин блюда, поняла? Наливай, Жорка, ей полрюмки, а то драться кинется. Теперь давай за архаровцев наших, за ребят и Соньку! Ты, Жорка, чуть, что не так, выволакивай их на середину и лупи, чтоб руку чувствовали! Захулиганились...

— Пап, полегче, — Тося с улыбкой смотрела на разбушсавшегося Старика.

— Слышь, Николай! — Старик нагнулся к Пенкину. — Она, не гляди, что маленькая, она хмыря из тридцать второй квартиры, ну тот, что в начальниках на «ящике»? Ну, узнаешь еще... Он свою бабу начал гонять, а Тоська и вывернись. Сумкой по башке, а в сумке банка с краской, понял? Тяжеленная. Вдребезги, краска ему на голову. Чуть башку не расколота — это ладно, отмыть потом неделю не могли, весь коричневый ходил, краска-то половая! И сам извиняться приходил, как же... Николай, ты с Тоськой сейчас говорить будешь или потом?

— Сейчас, — мертвея лицом на имя Николай, сказал Пенкин. — Здесь, сейчас.

— Я тебя, черт глазастая, дойму! — неожиданно освирепел Старик, поворачиваясь к Тосе. — Рано хоронишься, поняла? Жизнь кто будет поворачивать? Ты не смотри, что нога... Не ногой детей делают, ты о детях и подумай, Кольку не вернешь, нет его, теперь жизнь строить надо. Я скоро на Преображенском крестом накроюсь, с меня какой спрос? И Кольку где взять, нет его, Кольки-то.

Старик растерянно замолчал, поморгал и вышел тихо. Пенкин ковырял ножом отодранный край клеенки, молчал. И Тося молчала, смотрела, не мигая, и несусветная тоска плескалась в ее больших глазах...

ЖУРАВЛЁВКА

Такая тоска, что Пенкин, видевший ее краем своих помутненных глаз, готов был вскочить и, упав на колени, биться лицом о пол в ногах этой худенькой женщины, так неожиданно ставшей ему ближе и роднее всех на свете.

— Ты подожди, ладно? Сломалось во мне что-то, о Коле давно догадалась, по отцу. Да разве о таком спросишь? Ты, Жора, дай привыкнуть немного. К себе привыкнуть.

Капли срывались с подбородка, стучались о клеенку, она пришлепывала их сухоньким кулачком, размазывала, задевая тарелки, они бренчали друг о дружку, а Пенкин вздрагивал, ерошил волосы, курил.

Потом они допили водку. Наливала Тося, себе чуть-чуть, Пенкину под край, даже сжала бутылку в ладошках, выжимая капли.

Ночью они смотрели каждый свой сон.

Старик никак не мог выбраться из какой-то ямы, падал, матерился, лез снова. Края ямы крошились, по дну бегали крысы. Старик давил их ногами и явственно слышал крысиный писк. Проснулся злой, в ушах шумело, видно, поднялось давление.

Тося шила на машинке. Нитка оборвалась, она достала челнок, стала снимать спутавшиеся клубком-бородой бесчисленные нитки. Они не кончались, а наоборот, становились длинней и длинней. Тося плакала, задыхалась под образовавшейся горой ниток, пыталась кричать.

Проснулась на мокрой от слез подушке, стала ждать рассвета.

Пенкин смотрел вовсе несуразный сон. Будто едет дрезина, на ней убитый капитан. Глаза у него снегом залеплены, лицо в крови... Сзади Колька Туманков! То выглянет из-за спины, то спрячется, лицо печальное. Вдруг — Тося! Дрезина стоп. Колька жену на руки взял, опять поехали.

Волосы у Тоси развеваются. Колька и капитан хохочут, а Пенкин со страху зашелся... Увезут они Тосю, что

делать? Заорал, стойте, ребята, вы мертвые, зачем вам Тося-то, отдайте!

Капитан залепленные снегом глаза к нему повернул, пальцем погрозил. Колька, видно, испугался, жену бросил, она кубарем под откос. Пенкин подхватил ее и ходу, ходу от страшного места! Оглянулся — дрезина без рельсов, по земле следом беззвучно едет, Колька печально смотрит, у капитана через снег глаза вытаивают — два шарика синие.

Проснулся Пенкин и обрадовался — не отдал Тосю.

В потолок темный пялился, улыбался. Хотел встать, воды попить, но раздумал. Пока костыли приспособишь, пока доковыляешь — это всему дому побудка.

Лежал и думал, как жить, как выжить в чужом и трудном мире? Там, на фронте страшно, опасно и проще.

С первого мгновения, с первого часа непостижимо прочно и легко вошла война в душу Пенкина. Он принял ее, как неизбежность, как кровавую и тяжелую работу, ее надо выполнять ценой собственной жизни. Но Пенкин знал и цену этой жизни, поэтому подошел к войне с оглядкой и хитростью мастерового, вложенными в него неведомыми пращурами.

Испытав жестокость на собственной шкуре, он стал предельно жесток к врагу, но без ослепляющей ненависти, что кидает человека, подхваченного ею, на верную и бесполезную смерть. Пенкин научился науке выжидать, чувствовать время по-звериному. Научился хитростям боя, где главное не терять чувства пространства даже в тесном окопе, не шалеть от визга и грохота металла, не впадать в панику, когда кажется, что выхода нет.

Это помогло ему выжить в бесчисленных и невероятно дерзких вылазках в логово врага, когда он попал в разведку. А туда он попал за умение кидать нож, чем баловался еще в детдоме, за странное нахальство в разговорах с командирами и спокойствие в минуты опасности.

Война стала его профессией, средством существования, основой мировоззрения. Умение ловко бросить нож и попасть при этом, дар шагать по земле бесшумно,

чтобы ни один сучок не треснул... Талант забросить гранату в кузов идущей на полном ходу машины — все это определяет место и ценность человека на войне.

Теперь война повернулась к нему спиной, открыв горе, усталость и беды тыла. Но и здесь надо было жить и выживать.

Пенкин растерялся. Брошенный в муть докладных и неразбериху склада на заводе, он маялся головной болью и тосковал о фронте. Да еще Тося, словно вросшая в плоть его одичавшего сердца с того дня, как переступил он порог этой квартиры...

Сколько лет Люба Букина на белый свет через мутную пелену горя смотрела, по ночам слезы проливала. Свои родители давно умерли, а мать и отец мужа при ней остались.

Ветхие старички, тихие, как говорила дворничиха Максимовна, «Богом меченые». Доживали век памятью о сыне, летчике-истребителе Димке Букине, пропавшем без вести в далекой Испании. То ли родные, то ли нет, а ближе у Любы никого в целом свете не оказалось. Но она их в открытую не жалела, слишком самолюбивые.

Отец мужа в холодном подвале института Склифосовского патологоанатомом проработал, мать — операционной сестрой в травматологии. Всю жизнь при боли людской.

Ничего жили, тихо, Люба к своему липовому вдовству привыкла. Только стала замечать, что сторонятся ее Димкины родители, не то, чтобы явно, но деликатно от разговоров уходят, лишней раз не зайдут в комнату, не посидят, не спросят о делах. Люба на себе их настоженные взгляды ловить стала. Выяснилось все разом.

Сидели в комнате, пили чай. Старики сами пришли, долго молчали.

— Любочка! — Александр Павлович очки протирает. — Нам необходимо поговорить, словом, объясниться.

— Так, Саша, так.

Старушка ветхим кружевным платком обмахнулась, седой головой трясет.

— Очень необходимо. Любочка умница, она поймет.

— Мы с Кирой много передумали, в общем, мы вас стесняем, вот что. В ваши годы надо жизнь строить, а при нас, Любочка, как-то не получается. Мы жизнь прожили, те настроения, что у вас сейчас, нас не устраивают, вы себя хороните.... Господи, Кира, что ты молчишь?

— Да-да, Любочка, вы на нас не обижайтесь, право, вам детишек надо иметь. Обязательно надо, а мы при вас вроде довеска нелепого. Бестолковый разговор получается, но от чистого сердца, поверьте. Мы вот с Сашей сорок лет прожили!

— Она, Любочка, опытной сестрой была, уколы замечательно делала.

— Саша, а теперь-то, кто делает? — слегка обиделась на мужа старушка,

— Выходите, Любочка, замуж. Непременно.

Александр Павлович даже о стол подстаканником пристукнул для убедительности.

— Сосватали.

Тряхнула Люба головой в мелких кудряшках, во все стороны, брызги светлые веером. Старушка подслеповато прищурилась и ахнула, суетливо руками всплеснула, к мужу повернулась. Горько плакала Люба, закрыв лицо руками, только плечи дрожали. Александр Павлович растерянно поморгал, потом нахмурился и встал из-за стола.

— Диму не вернешь, а жизнь, поверьте, свое берет. Знаете ли, она...

Качнуло старого врача в сторону. У Киры Георгиевны мгновенно слезы высохли, пока Люба его в другую комнату вела, на постель укладывала, у бывшей операционной сестры лекарство в шприце готово. Когда мужу стало легче, она села в изголовье и вдоволь наплакалась.

Ночью Люба на цыпочках к двери — слушать. Тяжело во сне Александр Павлович вздыхает. Старушки не слышно, как видно, спит. Люба к излюбленному месту на подоконник, лбом в стекло, в ночь смотреть глазами воспаленными.

Рот полотенцем зажат, из горла крик рвется...

Любин муж, инженер Тихомиров, старичкам понравился: ненавязчивый, умный человек, все время или с книгами, или формулы какие-то в блокнот пописывает.

Они с Любой хорошо смотрелись — он высокий, волосы в проседь, от глаз лучики-морщины бегут, а Люба... Вроде все обыкновенное, ничего особенного, но вместе замечательно получается — глаза серые, веснушек горсть, крутобедрая.

В шашки играли.

Старый врач подолгу думал, нервничал, оттого «зевал» частенько. Иван Сергеевич Тихомиров ход сделает, в блокнот пишет. Руки у инженера в вечных порезах и ссадинах, кислотами и паяльником сожжены. Молчалив инженер, слова не вытянешь, только улыбается.

Стали в дом военные люди приходить. С Тихомировым почтительно беседуют. Мягкий человек, но на одного военного в больших чинах «цыкнул», тот по стойке «мирно» вытянулся. Оказавшийся рядом, старый врач, чуть заварной чайник от удивления не уронил.

В быту неприхотлив, ботинки худые, а он не видит, и без зонта побредет иной раз, если никто не подскажет. Люба его кормить, а он улыбается, тронет жену за щеку, кивнет и... все.

История его жизни проста. Вырос в семье потомственного рабочего, сурового и молчаливого лекальщика. Приучал он сына с детства к запаху металла, к премудростям станков, учил держать «струмент». Водил сына по цеху, объяснял, что к чему, подкрепляя науку подзатыльниками. Раз люто выпорол, когда Ванька сунул палец в раствор серной кислоты и месяц мучился ожогом.

Определив сына в институт, Тихомиров старший крепко выпил на радостях, утром выгонял похмелье в бане и простудился. Проболел три дня, на четвертый велел жене позвать Ваньку, подержал его руку в своих бугристых и тяжелых ладонях, ничего не пожелав ему, умер.

В тридцать восьмом году на заводе, где работал молодой инженер Тихомиров, произошла авария. Погиб

рабочий. Ответственного за испытания нового агрегата инженера вызвали в прокуратуру.

Там, в кабинете розового, пахнущего цветочным одеколоном следователя, узнал инженер, что никакой он не советский специалист, а «заброшенный из-за кордона агент английской разведки, проникнувший на завод с заданием поргить дефицитное импортное оборудование».

Тихомиров выслушал, про себя удивился, но подписывать бумаги отказался наотрез.

Любитель одеколona бился с Тихомировым часа три, наконец, выйдя из себя, закатил инженеру звонкую оплеуху.

Секунду Иван Сергеевич сидел неподвижно, осмысливая происшедшее, а потом стукнул письменным прибором по надушенной голове.

Следователя унесли в санчасть, инженера спустили в подвал, где в одиночной камере над ним долго «трудились» два улыбчивых сержанта. Его немедленно расстреляли бы, но «повезло». Поехал в далекий, туманный край на три года.

Там «полировал» ручку лопаты, изредка доверяли топор, объясняя, как растет тайга, а росла она густо, к вершинам тонко, у самой земли необхватными стволами.

Месяцев за пять до начала войны, в холодные, вьюжные ночи, записал инженер в блокнот соображения, как сделать, чтобы еще больше была «броня крепка и танки наши быстры». Записав, запечатал в неопрятный конверт, выменянный на пайку, и отправил с оказией на волю.

Через три месяца его вызвал начальник лагеря, долго и нудно пытался выяснить, кто и как передал на волю письмо такого сморчка? Не допытавшись, вздохнул и велел собираться.

За дело Тихомирова взялся один из китов промышленности. Инженер был срочно восстановлен в правах и обязанностях. Он крепил броню на быстрые танки, упорно выискивая секреты металла.

— Жорка, чего полуночицаешь?

— Курю.

Пенкин пожал руку инженеру, с удовольствием оглядел налитую фигуру Любы Букиной.

— Что ж вы с женитьбой канителитесь? Гвардеец, вся грудь в железе, а как пацан несмышленный.

— Люба! — инженер морщится недовольно, поправил на жене воротник и за плечи придержал.

— Эх, мужики! Где-то вы смелые. Пока вас пальцем не поманишь, с места не двинетесь. Любишь Тоську? — Люба насмешливо подмигнула Пенкину.

Пенкин растерялся, папироску бросил, за другой в карман полез.

У него с Тосей сложно.

Раз ночью со сна прынул, а в дверях Тося стоит. В одной сорочке, волосы по плечам разметались. У него сон ветром сдуло, на локоть привстал. Тося молчит, и Пенкин дыхание затаил. Вдруг пошла к нему, глазищами мерцает. Пенкин от нежности задохнулся, щеку изнутри до струйки соленой прикусил.

Тося к нему на кровать коленом, за шею обхватила, так поцеловала, что у Пенкина скулы свело. Отстранилась, пристально-пристально в глаза ему смотрит, видно, что-то сказать хочет.

Из соседней комнаты такой могучий храп раздался, что Пенкин вздрогнул, потом не выдержал и засмеялся тихонечко. Тося прислушалась, по губам Пенкина погладила, и, улыбнувшись, к двери скользнула. Пенкин слышал, как она ложилась. Старик еще пуще захрапел. Пенкина тут совсем разобрало, до слез закатился смехом. И Тося ему из другой комнаты вторит.

Старик мгновенно проснулся.

— Обезьяны пустоголовые, чтоб вам черти приснились! Малые изводят, тут еще эти навязались. Чтоб вам треснуть!

Заскрипел кроватью, постанывая и ругаясь, в кухню повололся.

Полночи там возился, гремел ковшиком, сам с собой доругивался.

— Иди домой, Любочка, я с Жорой посижу.

Инженер Любу за плечо тронул, она хотела сказать что-то, но только засмеялась и в подъезд зашла. Мужчины ее взглядами проводили. Пенкин пачку папирос протянул, инженер неумело прикурил. Сидят.

— С госпиталем у нас что? — инженер спрашивает. — Помочь?

— Ни к чему, завтра поеду ротного проведу. Письмо от него, позвонок осколком тронуло, в гости зовет, только ехать-то с чем?

— Как «с чем»?

— Ну, полагается гостинец, или еще чего.

— А-а, так я вам пузырек спирта дам, грамм триста хватит?

— Нормально. Кровь разгонит...

— Хуже не будет?

Пенкин усмехнулся, искоса посмотрел на Тихомирова. Хороший человек, а все равно весь тыловой, щеки впали, мотается с самой рани до поздней ночи!

— Я с утра зайду.

— Спасибо, — кивнул Пенкин, — а за что тебя сажали-то? Извини, если...

— Ничего, — спокойно ответил инженер. — Там нас много было. Это пока я нужен, а после войны досиживать придется.

— Как? — изумился Пенкин спокойному тону. — Как это — досиживать? Освободили, значит, вчистую.

Тихомиров улыбнулся, аккуратно загасил окурок о край лавочки, встал.

— Дело не во мне, Жора. Дело в тех, кому это нужно.

— Кому нужно? — тупо спросил Пенкин, глядя снизу вверх на инженера.

Тихомиров кивнул и в дом пошел. Пенкин его взглядом проводил.

Утром он ехал в трамвае, поправляя на коленях клеенчатую сумку с нехитрой закуской, смотрел в окно на Москву.

Долго выбирались в госпитальный сад. У ротного ноги ватные, идет и на ходу качается, кукла куклой, голову не повернуть, от подбородка к плечам хомут гипсовый.

Как добрались до лавочки, сразу все образовалось. Костыли к спинке, газетку постелили, на нее харчи, папироски в зубы и — гуляй, солдат, чтоб генералы завидовали!

Похудел ротный — страсть, десны синие, на носу жилки объявились, больничная амуниция мешком висит. Спину прямо держит, чисто кол проглотил.

Разговаривают... Кто в живых остался, войну доламы-вать будет, кто в чужой земле лег. Когда уж этой войне конец будет? Вот и на чужую землю ушла, а люди все падают и падают... Ротный обстоятельно все рассказывает, куда торопиться? Ему врачами на добрых полгода довольствие обещано.

— В этой богадельне дни резиновые! Тебя когда спасали, Пенкин? Сколь воды утекло... Насонова помнишь? Выволок он тебя тогда, а сам под мину угодил, один клоч шинели остался. Хорошо, не мучился.

Пенкин прощаться хотел, как из окна второго этажа такая ругань выплеснулась, что он оторопел. Потом тот же голос песню затянул.

— Кто это?

— Димка-летчик. Во, Пенкин судьба-то? С Испании по госпиталям мыкается, обе ноги ампутированы, глаз удалили, с рукой чего-то... Его под Мадридом сквозануло, горел, а когда в поезде с Урала сюда перевозили, так еще и поезд обстреляли, это уже в прошлом году.

— Оставался бы на Урале-то, родных у него нет, что ли?

— Черт его знает, с ним об этом не говорят, психованный. Может и запустить чем-нибудь. Раз его ребята поймали, он до окна дополз, на одной руке свое туловище успел на подоконник дотянуть, вот сила!

— Живуч человек.

— У начальства госпитального спрашивали, мол, можно бы его родню поискать, так оказалось, летчик за-

претил им этим заниматься, говорит, удавлюсь. Они и отстали. Читает с утра до ночи и рисует. Гляди-ка, это он меня рисовал на прошлой неделе, я в их палате в шахматы с одним майором играю.

Он из кармана листок помятый достал.

С тетрадного листка глядит на Пенкина ротный!

Вскрикнул Пенкин, в самый низ рисунка глазами впился, там четко карандашом выведено — «Дм. Букин».

— Ты чего, Пенкин?

— погоди, как его? Дмитрий? — Пенкин на окно пальцем показывает. — Букин, мать-честна! Я ж его жену знаю, в одном доме живем, у него и мать с отцом живые!

— Ну?

Потрясенный ротный пузырь с остатками спирта на скамейку открыто поставил.

— Летчик -- это раз! В Испании пропал, и еще его жена говорила, мол, рисовал здорово, фамилия сходится. погоди, ротный, Любка-то замуж недавно вышла, беременная она.

— Ну? — вконец зашелся ротный.

— погоди, она сколь годов ждала-то? Только недавно сошлась с инженером...

— Сломать хребет инженеру! -- стукнул по спинке скамейки ротный.

— Не так, ротный, погоди, не так все...

Пенкин бормотал и думал. А ротный потрясенно переводил взгляд с него на окно второго этажа, откуда голос безногого летчика выводил монотонно и фальшиво одну и ту же фразу старинной песни: «Ямщик, ты не стар, ты удал и красив...».

От огорчения покрутил головой и вытаращил глаза от боли. Зашипел, тронул край гипсового хомута, осторожно сглотнул. На глазах выступили слезы.

— Опять ночь не спать... Как осколок удалили, веришь, Пенкин, совсем спать перестал. Лучше бы не трогали. Сидел и сидел. Три часа ковырялись, думал, не выдержу, сдохну, ладно, ничего, прорвемся.

Пенкин машинально кивнул, не переставая думать о Любе и ее так неожиданно нашедшемся муже.

Много народу собралось у подъезда. Почти все взрослое население многоквартирного дома. Женщины плакали, мужчины курили. Возбужденные ребяташки путались под ногами. В стороне от всех, провиснув на костылях, стоял Пенкин. Был он при орденах-медалях, в выглаженной гимнастерке, из-под которой бежали к плечам штормовые полосы вылинявшей тельняшки.

К Кире Георгиевне дважды вызывали врача. Александра Павловича так лекарствами напичкали, что он, ничего не понимая, как взялся за горло, так и застыл на стуле, жалко и виновато оглядываясь.

Люба слова какие-то пыталась говорить, но ничего не выходило. На нее людям жутковато смотреть, поэтому те, кто в комнату набился, больше за врачом следили.

Сидит Люба на кровати, горой вспухший живот руками придерживает, медленно по лицам глазами водит. Потом прилегла... Из квартиры, на улицу и обратно, женщины спуют. Одни на Пенкина с удивлением смотрят, другие с ненавистью, а в чем он виноват?

Пенкин в такой переделке не был. К нему Бронька Пичуева подскочила, в воротник клещом впиалась и шепотом выговаривает:

— Ты зачём это? Черт паршивый, зачем его нашел? Он же не писал, не объявлялся, от него ни слуху, ни духу, похоронили его все. Что теперь прикажешь делать? Брюхатая она, ей родить вот-вот, живот видел? Как ей теперь жить прикажешь? Он винить себя сам будет, что узнала она о нем...

— Да не знает он, что жена знает! — Пенкин совсем голову потерял. — Ты чего на меня орешь? Не знает он!

— А ты Любку знаешь? Она его теперь заберет отсюда, завтра же. А Тихомиров-то? Он любит ее, и она его. Господи, а ребеночек родится?

Бронька в стену дома лицом хрясть! И сползла. Пенкин топчется одной ногой, костылями асфальт распирает.

Народ кругом. Смотрит и молчит странно.

Люба на кровать прилегла, глаза закрыла. В голове звон, сердце обмирает.

Идет будто по Бакунинской улице, кругом флаги, люди, оркестры... И машина вдруг навстречу едет, в ней Димка Букин при полном параде. Орденов видимо-невидимо, ему цветы кидают, девушки руками машут.

И Люба помахала, а машина — мимо! «Здесь я!» — Люба кричит, тугой живот от чужих локтей бережет, к машине пробирается. — «Я тут стою, Димонька!».

Только расступился народ, чтобы к мужу ее пропустить, а навстречу по проходу Тихомиров идет. Строго смотрит, вокруг майоры-полковники, солидный народ, серьезный.

«Вот и я, Иван!» — Люба растерянно ему в лицо заглядывает. А Тихомиров мимо! Люба руки вслед ему протянула, от усталости их за спину завела и... в небо вспорхнула.

Врачиха из седьмой квартиры, что металась от Киры Георгиевны к Александру Павловичу, мимоходом в Любино лицо глянула, ахнула, пульс щупать взялась. Через мгновение квартира пустой была, только Бронька с врачихой у Любиной кровати остались. Старичков соседи увели. Грелка, камфара, нашатырь — еле привели Любу в чувство. Только отдохнуть присели, как у нее схватки начались.

Вечером родилась девочка. Через пять дней они уже дома были.

Старички измаялись Любу ждать, она им запретила к сыну в госпиталь ехать, сказала, что сама все сделает.

Ночью долго сидели на кухне, Люба и Иван Сергеевич, разговаривали. А к рассвету он ушел, поцеловал Киру Георгиевну, она хотела ему в ноги упасть, но Иван Сергеевич не дал. Тогда старушка неожиданно ему губами в руку ткнулась. Со старым врачом на лестнице постоял, как обнял, так отпустить боялся. Припал он к плечу инженера, одной рукой его по голове гладил, другой сердце придерживал, чтобы не выскочило.

Люба проводила его до угла дома.

— Иван, ты не держи обиды, — она легонько тронула его за лацкан пиджака. — Нам это ни к чему, да? Ведь хорошо было? Все, Иван, так надо. Ты меня поймешь?

Он улыбнулся грустно, одними уголками губ.

Постояли, поцеловались и разошлись.

Глаз, удаленный, веком плотно прикрыт, другой синим окном — на женщину распахнулся. Рука пододеяльник под себя гребет, на ней вены канатами взбухают...

— Люба, ты зачем здесь? Я же...

Женщина от дверей на колени упала, ползет, стонет тихо. Халат с плеч слетел, из-под косынки волосы растрепались. Так, с протянутыми руками, и проползла к кровати, в плечо летчика вцепилась, открытым ртом воздух хватает...

В дверь палаты больные и персонал десятками зрачков стекаются. Нянечка ветхая глаза платком трет, другую нянечку в бок кулаком:

— Ну, чего там, Клава, он-то чего?

— Не пихай, баб Насть, не пихай, чего-чего, встретились!

— Митька-то как, чего молчишь?

— Белый весь. А у нее, говорят, ребенок недавно родился.

— Брешешь!...

— Главврач сказал!

— И то, и ладно... Мало ли чего? Сколь лет не объявлялся, случай свел. И дите не пропадет, ему батька будет, при мужике растить будет. Кабы она знала, а так — дите, потому расти должно. Ну, отойди, не видать за тобой ничего!

Домой Люба привезла его днем. Всем домом встречали.

Покаялась Люба при Димкиных родителях, что родила дочку в грехе «нечаянном». Старички только глаза таращили, когда она все это тихим голосом, спокойно

выговаривала. Попросила у мужа прощения. Кира Георгиевна хотела что-то сказать, но Александр Павлович не дал, крепко руку ее сжал.

Димка поплакал тайно, как положено офицеру и... Нормально жить стали.

До войны каждой осенью ездила Максимовна в деревню. Всего ночь езды до Курска, рукой подать, потом на Кшень, от нее с попуткой на Михал-Анненку... Места богатые! Не в том дело, что сытные, природа — самая русская благодать. Поля, перелески, кустов буйство, речка — все, как водится. Только, не как везде. Есть в тамошних местах заветность некая, где тоска заповедная на человека накидывается.

Ездила Максимовна с охотой, особой нужды не было, для души ездила, значит, и у души нужда бывает.

Вот там, в Михал-Анненке, Максимовна с птицами разговаривала. Вернее, прощалась с ними, когда они на юг пролетали. Над Москвой не летят, пугаются, а вот в деревне... Там им до свиданья крикнуть можно, помахать платком вдоволь, тоску — слезы с губ смахнуть. Если повезет, так и стая на речку плюхнется передохнуть. Вот красота!

Максимовна стаю в небо высмотрит, оглянется скорее всего вокруг — никого! — и босиком по полю, только пятки комки земли отшвыривают. Ну, догнать — это шалишь, а вот потом хорошо, прямо сказка какая-то! Сердце выскакивает, щеки огнем, под грудью мука сладкая нарастает.

— Э-ге-гей! Утки, гуси, лебеди!

Крикнет, потом ко рту ладонь ковшиком и скороговоркой:

— «Утки-гуси-лебеди, где по свету бегали? Не досталось пряничка вековухе Танечке!».

Припевку она у кого-то подслушала, и никому ее на всем свете не выпевала. Кроме сына Мишки. Его, как подрос, стала с собой брать.

ЖУРАВЛЁВКА

Ни свет, ни заря, с постели стащит сонного, злущего, штаны поможет нацепить, краюху хлеба с молоком в него напихает, и в поле волочит. Мишка сразу усек, что упираться бесполезно, покорно тащится, носом шмыгает, глаза в рассветную мглу таращит.

— Летят, Митюшка, летят, золотко!

— Кто, мамка?

— А птицы! Гуси, слышь, как поют-то?

— Гогочут.

— Ой, не дурак ли? Это ты гогочешь, они разговаривают.

— Они о чем говорят-то, ты прошлый раз сказывала, а я забыл?

— Памятный... — шелк в лоб. — С домашними они гусями разговаривают. Домашние по сараям прячутся, а все равно их чуют, которые летят-то.

— Ну, мамка, скажи, чего они говорят?

— Ой, говорят, я все слышу.

— Мамка!

— А вот чего. Значит, вожак этих, которые летят, вожаку в сарае, мол, летим с нами, го-го-го, а те из углов ему: «Куда?». Верхний им, в страну далекую, по ту сторону земли. Там трава шелковой, вода слаще, не мерзлая. А эти: «Мы пужаемся-а, мы бескрылые, мы запертые!». А который вожак в сарае, оттопырит свой клюв-то, ему обидно, что его сверху дразнят, и гогочет: «И чего там хорошего, у нас всего-го-го тут вдоволь!». А верхний вожак, мол, страна там лебяжья, детством зовется.

Мишка недоверчиво смотрит, ляжку штанов плечом натягивает, сопит. Страшная у него мать. Вон, с котом, как с человеком разговаривает, ругает его взаправду. А попробуй, скажи — по шес моментом схлопотать можно. Конечно, поплачет потом, так дело сделано, лучше промолчать.

Проводит Максимовна стаи поутру, вслед покланяется, и в тот день тихо ходит, улыбается блаженно, все у нес из рук падает, не ладится.

Глядь, домой собирается. У Мишки друзей полна деревня, дел невпроворот, и на речку, и в лес, мало ли? А она едем и все.

— Мамка, дай зайца с поля поймаю?

— Кому сказано, чертушка моя? Штаны продрал, и морду где-то покарябал. Я тебя!

И уезжают.

Весь год Мишка о деревне с городскими ребятами говорит, надоест так, что смеяться начинают. Но про птиц молчит, ну их, совсем прохода не дадут...

Когда Мишка прошелся по комнате в красных шароварах и при бинокле, рисуясь перед матерью, она рот прикрыла ладонью — вылитый отец Костя Рокотов.

И глаза, и зубы реденькие, и квадрат подбородка настырного... А походка-то, господи, что делается! Давно отца прах истлел, а вот тебе фокус, воистину мать-природа повторяется в творениях своих. Даже плечом на ходу, идол, подергивает.

Достала Максимовна чудо красное из сундука, надеть попросила. Мишка глаза растопырил, такие же, как у отца, с косинкой, хотел мать на смех поднять, но поостерегся, уж больно у нее вид торжественный был. Ходил в ее удовольствие по комнате, улыбался, потом бинокль нацепил, с ним покрасовался, а в раж вошел — и маузер именной пристроил.

Максимовна за сыном следит, пальцами мелко-мелко дрожит. Сколько лет минуло, простить мужу не может, что ничего не сказал ей тогда, в августе двадцатого, не попрощался, а уехал в одночасье. И сгинул под Тамбовом вместе со всем своим отрядом. Только и осталось, что маузер, бинокль, красные шаровары, и Мишка-вьюн.

Она то утро хорошо помнила...

Маялась над ведром, кусок в горло не лез, восьмой месяц Мишку донашивала. Выворачивает ее наизнанку, а тут двое в комнату, сели к столу, молчат. Этих двоих Максимовна раньше часто с мужем видела...

Себя пересилила, в шаль старую закуталась, села. Оглядел старший комнатку полуподвальную, потрогал шары металлические на новой кровати, покивал одобрительно. Молодой мужик из мешка пять буханок хлеба тянет, богатство по тому времени несметное. У Максимовны глаза так и застыли на хлебе, дух перехватило.

А из мешка связка воблы, десяток луковиц, сала кусок изрядный и, мамочки родные, круг колбасы! Доконал он ее яблоком, вытащил «невидаль» из кожаного кармана куртки, протянул — Максимовна его «хрум», за луковицей потянулась, и ее вслед, вприкуску.

Старший грустно улыбнулся. Максимовна спохватилась кипятком ставить, но заговорил молодой человек. После его страшных слов она замерла. Гору живота набухшего придержала, прислушалась — стучит рокотовское семя, на свет просится. Сжала зубы и крик удержала, только кивнула молча...

Под конец рассказа, молодой на стол маузер, бинокль и портсигар выложил. И заметила Максимовна, что портсигар он чуть дольше в руке задержал, видно, понравилась вещь. Она его обратно подала. Он отказываться, но Максимовна так отчаянно головой замотала, что взял молодой подарок, на товарища оглянулся, тот кивает одобрительно.

Переглянулись они и ушли, осторожно дверь за собой прикрыли, словно опасаясь, что ударит им в спины крик-выстрел осиротевшей женщины.

Родила она Мишку дохлого, не плакал, а пищал тонко. Мордастая акушерка ребенка по задку похлопала, вздохнула: «Не жилец». Максимовна голову в волосах потных, слипшихся, подняла, рот запекшийся облизала, и черными словами «благодетельницу» выругала.

А могла бы встать, прибила бы, в порог втоптала за слова гнусные. Акушерка сквозь зубы что-то выцедила, плюнула и пошла. Бессильно Максимовна следила, как она с полки две буханки хлеба прихватывает.

От пенсии отказалась наотрез. Ее к большому начальству вызывали, корить пробовали и ругали непуточно,

но она одно твердила: «Батяка недоволен был бы, что сын на харчах у власти находится...».

Рос Мишка слабосильным, били его дворовые хваты оптом и в розницу.

Приходил в соплях красных, ужасал мать разноцветными «фонарями», но не жаловался, не ябедничал. Максимовна умоет, луку нажует, приложит под красочные «фонари», и с воем за шпаной гоняется, кого лупить — не знает, молчит Мишка, потому, всем поровну раздавала.

С четырнадцати лет стал Мишка железом баловаться. Натащил домой гирь и, с утра до вечера, над ними потом обливался. Поначалу пластом лежал, кряхтел, потом ничего, справляться начал.

Спустя год Максимовна присмотрелась и ахнула — экое дурило выросло! И поняла, что не придется ей больше за Мишкиными обидчиками по двору с метлой гоняться.

В армию сына легко проводила, в письмах приветы от соседей и друзей дотошно выписывала. Как война началась, ничем своего страха животного, ужаса неописуемого не выказала, но в церковь пошла.

Встала у иконы Спаса Пречистого с усмешкой странной, концы платка перебирала. Бабка церковная, из тех, что всю жизнь у лампадок суетятся, нагар со свечей снимают, ее приметила. Подошла, чего, девка, скалишься, что смешного в храме быть может?

Максимовна ее с ног до головы осмотрела, в икону пальцем ткнула:

— Мишку моего убьют, я этого проклянущу. Сторит деревянный.

— Господи, Владыка-милостивец! — всполошилась бабка. — Кого проклянешь?

— Сына убьют, я всех святых ваших проклянущу, и отрекусь.

Бабка от такого кощунства задохнулась, хотела бабу сраму предать, но в глаза ее глянула и такое увидела, что едва не упала. Почудилось ей, что светятся огни в

глазах богохульницы. Ну, при свечах чего не покажется, только бабка еле дотащилась до скамейки...

Дежурила Максимовна по ночам на крыше вместе с жильцами, готовила ведра с песком и водой для «зажигалок», и жила от весточки до весточки.

Медсестра Фаечка интересничала. То губки надует, то Мишку по плечу пилоткой хлопнет. А то смеется бестолково, так что у Мишки от удивления глаза еще больше косят.

У Фаечки нос с горбишкой тонкий, на щеки тугие тень от ресниц падает, кожа смуглая. Глаза, как две сливы, черные-пречерные, над ними брови к вискам тянутся. Невысокая, а кажется высокой из-за талии, натуго ремнем схваченной, ног стройных, в офицерские сапожки затянутых, словом, смотреть на Фаечку — удовольствие.

Но Мишка не смотрит. Чистит ППШ свой надежный, ушами малинится, зло по сторонам поглядывает, а не смеются ли однополчане, не хихикают ли над Фаечкиными выкрутасами? А им чего, они тоже заняты делом.

Дело серьезным оказалось. В баронском особняке банда «вервольфов» засела. Поднаторели людские души губить, руки мой — не мой, с них кровь человеческая капает... У каждого на совести такое, что жизни не хватит по часу за каждого убитого человека в тюрьме сидеть.

В плен не идут, парламентаров посылали дважды, ни в какую. Надеяться им не на что, часом живут. В плену по их делам при расследовании — верная пуля.

Пьяные. У беглого барона погреба в особняке от продуктов ломятся, из окон пустые бутылки дождем... Деваться некуда, как волков обложили, вот и пьют да закусывают, смертный ужас ликерами марочными заливают.

Раз сунулись на прорыв, их пулеметами так «приехали», что от пятидесяти человек едва тридцать вернулось. Круговую оборону держат, боеприпасов — завались, гранатами отбиваются, а с чердака флигеля пулемет стрекочет.

Комполка, полковник Малинин, хотел их в камни гнезда баронского пушками вколотить, но приказ из дивизии «не трогать, архитектурная и художественная ценность!». Малинин полчаса на телефоне просидел, орал на штабных нещадно, а ему одно: «...посуда, утварь, живопись...».

Полковник после тягостного раздумья и осмотра особняка, добровольцев кликнул.

Война вот-вот кончится, поэтому, наверное, некоторое замешательство в рядах случилось, потом весь полк вперед шагнул. Малинин по первой шеренге глазами скользнул и отвернулся. Отошел в сторону, сор из глаза платком удаляет.

Группу захвата Райнис набирал, командир полковой разведки. Его за нелюдимость и неразговорчивость Немтышом прозвали. Такой муки ему каждое слово стоит, что собеседник за него страдает. Слова подсказывает, а латыш только кивает и белыми ресницами хлопает, мол, давай, друг, выручай, говори.

В Мишку Рокотова Райнис вторым по счету после Петьки Кротова пальцем ткнул. Оно и понятно, Петька по храбрости в полку номер один. Воин прирожденный, чутье на опасность, поле боя видит. У него вся грудь от наград сияет, гимнастерка тяжелыми складками провисла.

Отобрал латыш пятнадцать человек. Малинин ему, мол, хватит ли? Немтыш только плечами пожал, улыбнулся и сделал ребятам знак к нему подойти. Подошли, сели. В нескольких словах Немтыш план объяснил, простой план и мудреный – одновременно.

Короче, предложил он всю группу на грузовик посадить, и на большой скорости пробить ворота во внутренний двор. В это время огнем снаружи немцев отвлекают. Что делать там, во дворе, что их ожидает – на это у Немтыша слов не хватило, только рубанул ладонью воздух и сел автомат чистить.

Малинин оторопело выслушал, побагровел от досады, уж больно план авантюрным показался, но подумал и

согласился. Поодаль на бревнышко присел, прутом по голенищу сапога постукивает, ребят рассматривает.

Особняк сквозь деревья хорошо виден. Колонны белые, пруд небольшой, от него широкая лестница к парадному подъезду поднимается. Окна узорчатые, цветные, посреди клумбы две бабы каменные дебелие стынут. Одна в венке и покрывале, другая нагишом. В венке — на меч опирается, голая кувшин держит, из него вода струйкой льется. Малинин покосился и плюнул зло, отвернулся, стал на Фаечку смотреть.

Медсестра Фаечка интересничает.

— Что это вы, Мишенька, от девушек хорошеньких шарахаетесь? — кончиками пальцев кудряшки на висках толк-толк, повзбила. — Так можно и в холостых застрять. Что, хотите в холостых пожизненно проходить?

Мишка тряпкой затвор драит, молчит. Эта Файка треклятая ему давно прохода не дает. И грубить пробовал, и по-хорошему, с нее как с гуся вода.

— Вы, Мишенька, это зря! — Фаечка зрачками мерцает загадочно. — Как кончим войну, так отведу я вас прямо в ЗАГС. Там скажут слова хорошие, замечательные слова... И сядете вы, залеточка моя, за свадебный стол. Костюмчик, само собой, чистенький справим, будут нам «горько» кричать. Я в платье белом-белом, на голове веночек или фата перламутровая, на ногах туфельки шагреневые.

— Вот дает! — Петька Кротов восхищенно головой качает.

— А ты, Кротов! — Фаечка бровь выгнула. — Когда милые тешатся, не лезь, а если влез, говори по совести, что делают с парнями, из-за которых красивенькие девочки с ума сходят и на речку топиться бегают?

— Убивают их! — заорал Петька, и сапогом пристукнул о землю. — Кожу с них дерут, на барабан натягивают, а на барабане «тангу» пляшут.

— Вот, Мишенька, по законам всех времен и народов, убивают соблазнительей. Так в лице Петьки непутевого глас народный решил. Но, вы нужны для Победы, и

приговор отменяется. Остается мне, бедняжке, сплести веночек из цветов и бродить по полям — дугам чужеземным дево́й бесприютной. Ах-ах!

Фаечка кувыркнулась с пенька, легла на траву, ноги в сапожках вытянула, а руки крестом на груди сложила.

Мишка побагровел. Латыш усы в порошок стирает, у самого плечи дрожат, Петька в голос ржет. И Ласкин в колени уткнулся, смеется. Ерофеич, старшина в возрасте, а тоже басом громыхает. Только Малинин грустно улыбается...

Мишка хотел что-то «завернуть», как встал Немтыш, ладонь вверх поднял — все!

И все встали. Сразу у Фаечки глаза расширились, словно прострелило ее вековой болью. Быстро с травы вскочила, за плечи Мишку взяла и губами сведенными шепчет:

— Осторожно, мальчик мой золотой! Я ждать буду, ты помни, если с тобой что, так я под пулю пойду.

У кустов оглянулась. Мишка такую тоску ощутил, что по спине ознобом дернуло. Нсожиданно для себя, в три прыжка расстояние до девушки покрыл, никого не стесняясь, крепко обнял и в губы, что есть сил, поцеловал.

Откачнулся, легонько по носу ее шелк, и к бойцам пошел.

На дно кузова грузовика десятеро легли. Автоматы под правую руку, гранаты у пояса. Легли ногами по ходу движения, как-никак, а ворота прошибать придется. Для упора Малинин велел к доскам пола и бортов вроде ручек прибить, чтобы во время удара самим не побиться и других не задавить.

Пятеро в обход пошли, со стороны флигеля пулемет — им задача поставлена, чтобы замолчал он вовремя.

Митрохин шофер опытный, всю войну за баранкой, а тут... Покрылся синевой с лица, сигарку не выпускает из губ, дымит нещадно, то и дело на особняк баронский косится. Так рассчитал Митрохин, что крути-верти, а сто

пятьдесят с лишком метров ему машину навстречу смерти гнать. Дорога узкая, не повиляешь. Знал, что шанс мизерный, потому и покрывался синевой, испариной смертной, кривил губы в улыбке виноватой.

Аллея прямо в ворота упирается. До поворота на аллею Митрохин машину подогнал и встал, вышел из кабины, ноги размять. Немтыш из-за борта смотрит, молчит, потом улыбнулся Митрохину и говорит:

— Ты, Костя, когда на прямую выйдешь, сразу скорость давай, сам вниз жмись. Педаль газа придави и перед воротами падай на пол кабины. Ворота труха, мы их, как щепку разнесем.

— Танком бы, — Митрохин задумчиво, — а где взять? Они вперед ушли.

— Времени нет, вот чего, — в тон ему Немтыш.

Кивнул Митрохин и в кабину полез.

Трое ребят осталось в кузове машины, когда она во внутренний двор влетела. И вправду, как щепку ворота разбили, даже удара не ощутили, только треск, да доски на голову посыпались. Митрохин машину с ходу развернул и к боковой стене особняка вплотную прижал.

Мишка в паре с Немтышом мертвую зону проскочили под окнами, на каменную пристройку запрыгнули, по ней к окну большому, сапогами в стекла раз! Мишка в вестибюль прыгнул, по шарахнувшимся теням — «тра-та-та-та!» Немтыш подоспевшего Ласкина в окно втянул, тоже застрекотал.

Петька Кротов не добежал, его из бокового окна в упор ударили. Оглядываться некогда, кто жив, кто нет, надо дело делать.

Ласкина прямо перед Мишкой — в голову. На цыпочки привстал, выгнулся, автомат выронил, за каску схватился и на паркет рухнул.

Мишка секунду смотрел, потом выверился.

Подвернувшегося «вервольфа» очередью по стене размазал, прыгнул в коридор.

Другого противника по окаянной голове прикладом с ходу, тот без звука на пол сунулся, а набежавший Немтыш добил.

Со всех сторон автоматы бьют. Из мраморных колонн по вестибюлю крошка острая летит, гипсовые амуры на стенах фонтанчиками взбухают. От их глупых ликов носы-щеки-подбородки кусками отваливаются. А со стен портреты глазами щерятся, лезут из темного фона.

Двое хотели к лестнице наверх перебежать, их Немтыш струей огненной положил, за колонну сунулся, там фашист! Патроны у него, видно, кончились, вскочил и автоматом стал, как дубиной, махать. Немтыш к нему — не подпускает, дьявол.

Мишка увидел, как они пляшут друг перед другом, заорал:

— Не бери их! Без плена!

На него выскочил один, в эсэсовской фуражке на самые уши, от пуза громынул очередью. Мишка едва успел в коридор отпрянуть. Выставил ствол ППШ, нажал на спуск — щелчок! Конец диску. Мишка «Вальтер» из-за пояса выдернул, присел. В фуражке в проем двери выскочил, как раз стволом над Мишкой оказался, он аккуратно и выстрелил под этот ствол. Фашист пулю животом втянул, швырнуло его назад и в сторону, падая, заостенел, весь рожок в потолок выпустил и затих.

Погнали «вервольфов» снизу наверх.

— Сколько вас, собак? — Немтыш голосом прорезался.

— Прикрой!

Мишка страшными прыжками по лестнице наверх. Упал за мраморный портик, вжался в пол, и вовремя, по нему с двух сторон сыпанули. Но камень толстый, по такому из пушки бей и ничего.

— Мишка, гранатами нельзя! — Немтыш орет. — Там живопись!

Мишка лошадиную морду врага в прорезь мушки поймал, аккуратно прицелился, только на спуск, а тот раз — и за угол. Отстреливается коротко, грамотно, чуть Немтыша на перебежке не свалил. Сзади грохнуло за колонной, Мишка резко обернулся, а рядом с ним Митрохин свалился. Улыбка во весь рот, на щеке рваная рана, видно, пуля вскользь махнула.

— Ну, чего?

— Во! — Митрохин большой палец выставил. — Теперь все, теперь живем, а?

Мишка кивнул.

Неожиданно стихло. С той и с другой стороны ждут, затаились. А Митрохин орет:

— Как в ворота вмазал, так, думаю, конец, а я — вот он! Понял?

— Да понял-понял, чего орешь-то?

— Не, это осколком задело, гранату, гад, чуть не под ноги швырнул, а так ничего.

— Не ори! — Мишка рассердился. — Прямо в ухо!

Митрохин ему в лицо заглянул и кивает:

— Полковник «Отвагу» обещал. Ты не раненый?

— Да ты что, оглох, что ли? — Мишка с подозрением на Митрохина смотрит.

— Полный диск, вот! — Митрохин автомат показывает.

— Понятно, контузило тебя.

Мишка его за плечо вниз придавил, мол, пониже, браток, пониже, у ворот цел остался, здесь могут свалить. Митрохин улыбается во весь рот, струйку крови со щеки рукавом стирает.

— «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...», — кто-то из ребят песней душу отводит, собственные нервы на прочность щупает.

— Немтыш!

— Ну.

— Сюда не ходи, тут сволочь один засел, не выкурить.

— А ты на что?

— Ему удобно, из комнаты шпарит, лестницу держит.

— Ладно. Гранатами не надо, живопись.

С полчаса молчали. Потом «вервольфы» на прорыв пошли.

Четверо скачками из комнаты к лестнице! Поливают из автоматов. Один наскочил по горячке на колонну, ударился лицом и опрокинулся. Может, пьяный, а толь-

ко бросил автомат и на четвереньках пополз. Мишка его с ходу приговорил. Другой за колонну юркнул, оттуда огнем паркет перед Мишкой поливает, щепы набил тучу.

Митрохин из автомата двоих срезал, а тот, что за колонной, Митрохина достал. В лоб пуля угодила. Повалился Митрохин затылком на спину, Мишку всего горячим залил. Мишка мотнул головой, проскрипел зубами и вскочил...

Через портик прыгнул, метнулся из стороны в сторону, ушел от очереди и за колонну. Сапогом по стволу ударил, прикладом вперед себя, не целясь! Попал в плечо фашисту.

Хотел ему «хенде хох» крикнуть, вместо этого из гортани карканье вышло. А у того, неизвестно как, и ножик в руке! Чуть Мишка маху не дал, прыгнул противник прямо с четверенек, погон полоснуть успел, как бритвой срезал. Мишка остаток диска в него выпустил.

Прислушался, нет стрельбы, на пол сел, перед собой в стену смотрит.

— Как ты? — по лестнице старшина Ерофеич поднимается, головой вертит, по сторонам озирается. — Живой?

— Немгыш где?

— На полу внизу.

— Живой?

Ерофеич, не отвечая, на корточки рядом присел, папироску из портсигара вытянул, подал.

— Сколько нас? — Мишка спрашивает, прикуривая.

— С тобой пятеро.

Кивнул Мишка, задумчиво на огонек смотрит.

— Вы последние были... То крыло быстро уговорили. С десяток в плен сдались, остальные все тут.

— Надо в тех комнатах посмотреть, Ерофеич.

— Чего смотреть-то? С черного хода вошли, там нормально.

— Митрохина... — Мишка на портик головой мотнул. — Контузило его, оглох. Вот этот его срезал.

Мишка показал на труп фашиста у колонны. Ерофеич покосился, плюнул под ноги, и отвернулся. На лестнице

послышались голоса, человек десять бойцов рассыпались по второму этажу, комнаты и переходы осматривают.

Пошли вниз. Немтыш недалеко от окна лежит, прямо над ним огромная картина — кавалер в шляпе с пером на лошади, а сзади олень убитый и собаки вокруг. Ерофеич губу прикусил вместе с усом, покачал головой, а Мишка как увидел картину, так и задохнулся. Выхватил фишку и хотел с маху ее от края до края, но остановился.

Вспомнил, как кричал ему Немтыш про гранаты и живонись, не стал резать.

Зажмурился крепко и прочь пошел, сквозь резные двери... Когда-то резные, были они разбиты автоматными очередями и взрывами гранат в щелку, едва висели, одна половина лежала на полу, так что и открывать не понадобилось.

На пенёчке консервы открытые, бутылка с этикеткой красной, в медалях. Фаечка возле Мишки на корточках присела, в глаза искательно заглядывает. А у Мишки что-то «застопорилось». Как сел на траву, ноги вытянул, так и застыл надолго. Что ему Фаечка говорила, куда-то рукой показывала, смеялась — Мишка ничего не понимал. Улыбался и травинкой пожухлой себя по щеке гладил.

Десять ребят на траве лежат. Полковник Малишин возле каждого присел, каждому в лицо заглянул, губами шевелил.

Сердце у Малинина ни к черту, так что Фаечка на него пристально посматривала.

Мишка сквозь ее кудряшки ствол березы видит. Весна, конец апреля, на березе листочки махонькие. Вот странно, и тут, на чужбине, она такая же. А еще больше странно, что вот он, живой, может на ноги встать, а в двадцати метрах ребята лежат ровно, недвижно так, и ничего им не надо.

Облако чужое комком ватным повисло. Мишка его внимательно рассмотрел — ветер от облака целые глыбы отрывает, уносит. Куда? Может, домой? Фаечка его взгляд проследила, губу прикусив, долго крепилась, по-

том не выдержала, в сапог лицом уткнулась и крепко в Мишкину ногу руками вцепилась. Мишка, не отрывая глаз, наугад руку протянул, ее плечо нащупал, гладит.

— Твоих родишь.

— Рожу, сколько захочешь, все твои будут. Именами наших ребят назовем, да?

— Девки будут?

Подняла Фаечка голову, подумала и крепко так:

— И девки будут, у меня кровь крепкая.

— Мамка по осени всегда меня в деревню возила. Она туда с птицами прощаться ездила, в деревню-то.

— Их теперь встречать надо. Войне конец, их теперь много прилетит! Свистеть, гулькать будут. Еще куковать. На зорьке как раскукуются! Врут, что кукушка года считает, это она по детям плачет. Доля ее такая.

Максимовна в подъезде пол моет. Юбку за пояс заткнула, простоволосая и злая... С бывшим боцманом Карасевым насмерть сцепилась.

Повадился старый гуляка цветы в сквере драть. Норовит целым букетом отовариться, не иначе, как бабе какой-нибудь таскает. Неизвестно, что больше задело Максимовну — догадка о бабе, или цветы, за которыми она строго следила?

Но подстерегла Карасева и давай стыдить. Потом хотела отнять букет. Боцман не дал. Возились долго, букет изломали, воротник рубашки боцману Максимовна с корнем выдрала. Все молча.

С обидой разошлись.

Моет Максимовна пол, и под нос ругательства разные выговаривает. Вдруг окликнули ее. Обернулась сослепу: в дверях мужик рослый, вроде в форме, рядом силуэт бабий. Максимовне свет в лицо, не угадать, кто спрашивает. Тряпку выжала, распрямилась с кряхтением, руки в бока.

— Кого, Жорку Пенкина? Нет его, на работе, один Старик в дому.

— Мамка! — от двери.

— А? — туговатая на ухо Максимовна голову набок, вслушивается...

— Мамка, да ты чего? — Мужик вперед вышагнул, навстречу.

Максимовна из тренированной глотки дворницкой такой крик исторгла, что спавший после ночной смены за тремя дверями боцман Карасев подхватился со сна, и ударился в бега по авральной тревоге.

На кухне опомнился, остановился и долго изумленно слушал.

Повернул Вожак голову гордую:

— Ну что, летишь с нами?

— Куда?

— Домой, там трава шелковой, лето красное.

— И что?

— Глупыш, детство там твое. Полетели!

— Страшно, летать не умею.

— Делай как я, вверх, вниз крыльями, на воздух опирайся. Держись за него и не упадешь.

— А убьют? Из ружей стреляют.

— Не думай об этом, глупыш, летим на родину.

Режут белые крылья чернильно-густое небо. Как ни напрягай глаза до прищура туманного, а все дальше и дальше за горизонт птичьих стаи улетают к родным гнездовьям...

ЧАСТЬ II

Стоит Бронислава у стены, замазку пальцем выковыривает, грызет соленый огурец, и плачет злыми слезами. На новом платье дыра, две пуговицы с мясом вырваны, у белого воротника одного угла не хватает. Волосы у Брониславы растрепаны, паклей во все стороны торчат, на щеке свежая царапина.

Муж ее, Иннокентий Вельский, «вольный боец газетного фронта», над печатной машинкой сопит, неверной рукой чистый лист заправляет. Косит на жену глазом, копиркой шуршит, муторно ему.

Вельский по пояс голый, брюки спереди мокрые, в дремучей бороде капустный лист застрял. Под стулом, и у стола лужа, в ней кастрюля опрокинутая, в луже рецепт щей наглядно рисуется. Вельский ноги широко расставляет, поднимаясь взять что-либо, следит, чтобы на скользких картошках не споткнуться.

Злосчастная бутылка водки на столе стоит, из-за нее сыр-бор разгорелся.

Глаза у Иннокентия маленькие, буравчиками из-под густых бровей выцеливают. Нос благородной лепки, губы узкие, уголками книзу скошены. Рост у него илывый, как говорит сапожник Нефедов, чтобы ему Броньку поцеловать, надо ей кастрюлю на голову надеть и за ручки подтягиваться.

Нрава Иннокентий Вельский пугливого, больше всего на свете боится куда-либо опоздать, из-за этого от всей жизни опоздал. Прочили Кеше когда-то хорошее будущее. Что помешало — неведомо, только бывшие способности ушли-растерялись, и будущего не вышло, а вот честолюбие непомерно распухло.

Оно его натолкнуло мир через призму бутылочного дна высматривать. Как-то так вышло, что похмелье не успевало литератора догнать. Не успеет глаза продрать, а припасенный стакан, сам собой, вверх дном кувыркается.

Писал он стихи и прозу мутные, громоздил слова на слова, шуршали они мертвым песком, осыпались на бумагу. Больше всего любил военную лирику, как «птички над пушками поют, по лафетам скачут...». У него и лисичка в лесу к танкам подбегала, нюхала и удивлялась непрошеным гостям. И солдаты, если спали, то обязательно во сне соловьев слушали. И все, поголовно, погибнуть за Родину мечтали.

Не брезговал переводами. Дело это зыбкое, поди, проверь, что какой-нибудь певец автономного округа сказать хотел на самом деле? Трактовал их Кеша, как хотел. Поэты, им персведенные, побить не раз хотели, но ко всему прочему, был Иннокентий нахален и самоуверен, чуть что, писательским билетом очень умел козырнуть.

Время от времени в газетах появлялся с очередными стихами-лозунгами, и дарил их знакомым с неизменным росчерком и надписью «С искренней симпатией».

Во дворе его не понимали. Старик Туманков после выпитой бутылки и часовой беседы от него как от чумы бегал. Сапожник Нефедов осторожно замечал: «Заумный мужик, таких в Сибири пришибленными зовут».

Где-то Вельский книгу выпустил, где-то рецензию написал, но кроме невнятных стихов про «костры горячие в лесах», никто результатов его плодотворного труда на благо литературы не видел. Лежал в доме роман в стихах, про который Бронислава говорила почему-то шепотом, часто оглядывалась, вертела у виска пальцем.

Во дворе он громоотводом был. Соберутся мужики посидеть, покурить, а скучно как-то... Иннокентий бредет! Сейчас его к себе. Кеша рвет душу, наизнанку выворачивается, а народ со смеху дохнет. Правда, тут еще сила инерции срабатывала, уж больно Иннокентий при своем переезде людей насмешил.

...В тридцать седьмом дело было. Приехала Максимовна из деревни, мешок с гостинцами до дома еле доволокла, передохнуть встала, а тут мужик из такси с чемоданами вылезает. Борода, шляпа, ботинки лаковые. Ботинки ее больше всего поразили, загляделась, а мужик вылез, чемоданы поставил, и на Максимовну в упор уставился. То сбоку, то прямо, то со спины зайдет...

Ходит кругами – и все тут! Максимовна обеспокоилась и спрашивает:

– Вам чего, гражданин?

Иннокентий голову назад откинул, глаза нетрезвые прищурил:

– Значит, так. Я телефон дам, сегодня вечером позвоните, ответит Константин, договоритесь о встрече. Он вас ваять будет.

– Он чего «будет»?

– Ваять. Если голая натура нужна, о цене договоритесь. Но под пролетарский типаж – вы то, что надо.

— Кто голая?

— Главное, грудь! — Кеша усмехается. — Она у вас на полметра вперед выезжает. Тип, женщина — крестьянка, кормилица.

— «Выезжает», — эхом повторила дворничиха. — Голая?

— Советую, деньги вперед.

Потрясенная Максимовна головой тряхнула, у нее от злости родинка фиолетовой стала. Молча сумку холщовую подцепила, в ней свинина крупной деревенской резки, и погнала «советчика» до сараев впереди своего очумелого крика.

Когда разобрались, дом со смеху скис...

Если Иннокентий рядом с женой шел, несведущего человека оторопь схватывала. Бронислава — само величие, глаза синие, дымкой подернуты, рост гренадерский, кожа белая. Литератор рядом с ней огрызком смотрится, семенит мелко, руками за все цепляется, но разговаривает солидно, медленно, немного через губу.

Стоит Бронислава у стены, пальцем замазку ковыряет, грызет соленый огурец и воет.

— Бронислава, не смей, кому говорю, не вой под руку!

Просвистел соленый огурец возле литераторского уха, а у Иннокентия и ухом сил нет повести. Завешенное богемной бородой лицо скукожил. Во рту горечь.

— Тебе странно, почему я пью, если хочешь, давай разберемся. Тебе дана сторона внешняя, быт, и все вокруг. Духовного в тебе нуль! — Иннокентий показал согнутые в кольцо два пальца. — Женское начало доминирует, поэтому ты бесишься, но принимаю тебя при всей твоей дикости, и терплю.

— Как ты мне опостылел!

Вельский, улыбаясь таинственно и мудро, нетрезвой головой качает. Мол, говори, говори, а я свое дело знаю, такое знаю, что тебе, дуре бесталанной, всей жизнью не постичь.

— Твоя ноша тяжелая, но и моя не легче. Писатель — это миссия. Ты вот меня щами чуть заживо не сварила, а если бы кипяток?

— В следующий раз вскипячу, — Бронислава кивает по-деловому.

— Муки духовные, они самые мучительные. Ты за свою жизнь хоть строку создала? Тупа, как...

Вельский пошевелил в воздухе руками неуверенно, словно обнимая нечто большое и круглое. Договорить не успел, Бронислава плюнула в его бороду и вышла.

Тося от удивления отступила — стоит на лестничной клетке Бронислава, в руках чемодан.

— До утрапустишь? Потом придумаю что-нибудь, ладно?

— Господи, да иди уж, только в кухне сядем, от своего лунатика сбежала?

— Пусть подохнет от водки!

Бронька в дверь прошла, чемодан с грохотом поставила и, сев на него, заплакала. Тося испуганно прикрыла дверь, побежала за водой.

Броньку знали все. И никто не знал Броньку как следует. Она бралась за любые виды приработка, где только можно. Стирала, вышивала подзоры и пододеяльники, сидела с чужими ребятишками и готовила обеды на заказ. Ухитрялась мыть лестницы в двух подъездах и затоптанный сотнями ног вестибюль Дома творчества.

Соседи говорили, от жадности. Но ни один человек в доме не мог припомнить, чтобы Бронька отказала ему дать займы или отпустила голодным из своего дома. Она парила, жарила, мариновала, готовила впрок, солила и консервировала.

Содержимое этих банок пробовали все в доме. Ни одно событие не обходилось без ее участия. Первые ватрушки — соседям, первые пирожки — ребятишкам. Иначе не бывало.

Но если кто-нибудь не отдавал вовремя долг! Вот тут начиналась другая Бронька. Она орала на весь двор, что

ее разорили, призывала на голову должника всех чертей и бессмысленные кары. Наоравшись, одалживала опять, часто тому, кто еще так и не отдал. Дворовые мужики часто пользовались кредитом, суммы копились изрядные, но, рано или поздно, отдавались.

— Тось, я прилягу? Жорка на работе, а Старик с ребятами где?

— У Димки Букина картинки какие-то клеят. Повалились к нему... Он болеет, а они ходят и ходят. Про самолеты им, что ли, рассказывает? И Старик туда же.

— Как с Жоркой-то? Чего канителитесь, он тебя любит.

— Сложно... На диван приляг, одеяло дам. Бронь, без тебя лунатик совсем сохнет!

— Пальцем не пошевелишь. Я, если и выйду замуж, только за генерала, еще лучше за язвенника, они не пьют.

— Еще как пьют, на хлеб мажут.

— Вот, заразы!

Повернулась Бронька к стене и с великой обидой на пьяный мир уснула.

Тося укрыла ее одеялом, улыбнулась, удивляясь прощальной жизни, как такая красота охламону досталась?

Войну Грач встретил в лагере. Сидел третий год — за пьяную поножовщину...

Пока служил в армии, отец и мать в одночасье умерли. Мать пережила отца на два дня. Присхал Грач по телеграмме, схоронил родителей и вернулся дослуживать. Демобилизовали его в тридцать восьмом.

Поставив чемодан на ступеньку лестницы, долго стоял в дверях пустой квартиры, слушал тишину и дрожал лицом. Потом запил. Неделю и побыл дома...

Как оказался в его руке нож и чей он был, Грач не помнил. Осталось в памяти перекошенное лицо какого-то парня, жуткие крики людей и боль в плече, когда выламывали ему руку подоспевшие милиционеры.

Приговор выслушал спокойно. Пять лет за драку и причинение тяжелого ранения. Грач фамилию парня не

вспомнил, был как во сне. В лагере затосковал, но потом привык и освоился. В «рабах» ходить отказался, за что его чуть не прирезали блатные, но отступились. «Купил» их Грач игрой на гитаре с бесшабашными песнями московских окраин.

У крыльца метлу и ведра складывал, когда к бараку подбежал Ефимка Тушинов, домушник по кличке Тушканчик, истошно заорал, что началась война. Грач выслушал, пнул метлу и сел на ступеньку покурить-подумать. На окружающих внимания не обращал, накурившись, чинарик в ладони размял и в специальный мешочек табачную крошку ссыпал.

У Грача через лоб челка косая, глаза зеленые, голова хромой машинкой ступенями выстрижена, согласно лагерным правилам...

Вот этой челкой косой да глазами зелеными, он ровно через десять минут перед начальником лагеря нарисовался. С ним три пятых осужденных на плацу стихийно выстроилось. Начальник прибежавший отдышаться не может: «Что за митинг? Почему собрались?».

Алешка Грач делегатом представился. Говорить складно умел, потому его и отрядили. Вышел Грач, слова в уме повторил, и заплакал неожиданно. Только и смог выговорить, что, мол, кровью искупить хотят вину перед Родиной. Начальник лагеря молча выслушал, кивнул и ушел. Некоторое время их в неведении держали, а потом...

Потом Грач в заваруху попал. Весь штрафбат, где ему начинать пришлось, под безымянной высотой остался. Восемь раз Грач в рукопашной свою человеческую пригодность доказывал. Красными каплями по камням кропил, вину перед Отечеством смывал.

В той заварухе ему рот штыком порвали, длинный шрам остался, и руку прострелили в мякоти — это повезло. Шрам на лице долго не заживал, гноился и свищами прорывался.

Из тех атак на высоту, их восемь человек осталось. Тушканчику грудь навyleт, красными пузырями харкал,

когда его Грач после боя в медсанбат поволок. Хрипит Ефимка несуразное, сгоряча блатные песни петь наладился, потом примолк. Остановился Грач, а Ефимка затосковал лицом, улыбку с губ согнал.

— Грач, а вот мы им, знай лефортовскую шпану! Грач, я помру?

— Я те помру, — сипит Алешка, дух переводит, — только попробуй.

— Худо чего, Грач?

Не дотацил Грач Ефимку. Закричал он тонко, сполз со спины, в руку Алешкину вцепился и жалобно смотрит. Потом из горла толстенную алую струю выбросил, белей бумаги стал и затих. Грач рядом плюхнулся, рукой Ефимке рот зажимает, да разве такую лавину крови удержишь? Только перепачкался весь.

За ранение и храбрость сняли с Грача судимость, перевели в часть обычную, регулярную. Воевал он истово и жестоко. Потом пропал. Одни говорили, что его из дивизии в «дальний поиск» отправили, другие, что он к немцам ушел.

Знали о том, где Грач, двое в штатском, что дней пять были в штабе дивизии. Один немой — здоровый бугай, все Алешку выпрашивал. Напишет на бумажке вопросы, где сидел, как сидел, за что сидел и многое другое. И смотрит по губам, считывает ответы.

Другой, старичок, тот больше с Грачом на политические темы беседовал. Но это для отвода глаз, хитроват был. Разговаривали они с Грачом, разговаривали, да все разом и исчезли.

Машина тормозами скрипнула, качнулась и встала.

До города километра два оставалось. Генерал опухшие веки приподнял, смотрит.

Полицай молодой к машине идет, косая челка из-под грязной пилотки мотается. Другой, здоровенный верзила с тупой рожей, за веревку шлагбаума держится. И третий, старичок, на другой стороне дороги с ноги на ногу переминается.

Генерал досадливо поморщился, веки сомкнул, чувствует, как качнуло машину — это адъютант выпрыгнул, стал на полицаев орать. Сон наваливался волнообразно, и генерал пытался справиться с ним.

Сквозь дрему думал с досадой, что понаставили дураков при въезде в город, и какую он головомоёйку устроит коменданту. Какие тут партизаны, когда до линии фронта надо самолетом лететь? Был отряд, но его до Нового года в болотах утопили. Рядом охранник сопит, от него луком несет, генерал брезгливо губами дернул.

Сухо выстрел щелкнул. Генерал голову вскинул — охранник ему в колено ничком ткнулся, из виска черное течет. Не успел генерал сообразить, как второй выстрел — шофер о баранку головой с тупым стуком. А дальше соображать было некогда — генерала из машины выдернули.

Потянулся он к кобуре лаковой, да молодой, с косой челкой, его по шее так треснул, что фуражка с тульей высокой, виляя, по дороге покатила. Молодой пистолетик генеральский с перламутровой ручкой из кобуры вынул, и в карман.

Адъютант посреди дороги лежит, ноги широко раскинул. Генерал руку поднял, что-то отрывисто и гневно произнес, но подошедший верзила его вокруг себя развернул и к кустам подтолкнул. Уперся генерал и... Такого пинка и во сне не бывает! Генерал тевтонским носом в землю шварк! Очки потерял, поскулил тошно, и пошел. На верзилу оглянулся. Тот ему кулак показал.

Объявился Грач на Журавлёвке через три месяца после окончания войны. Челка та же, косая, только белая. На груди Золотая Звезда.

Вроде здоровый мужик, только замечали, что нет-нет, а сморщится Алешка, словно боль его точит. Постоит, сжав зубы, побелеет скулами и дальше... Соседка однажды увидела, когда Грач, по пояс голый, на лестнице перегоревшую пробку менял, и ахнула — у Алешки живот в шрамах, на левом боку кожа рубцами стянута, клоч

вырван с блюдце, не меньше! Ахнула и побежала рассказывать.

Что ни вечер стоит у подъезда — руки в карманах, сапоги сияют, смотреться можно. Насмешливо вокруг поглядывает, насвистывает, а то и напевать блатное начнет. Пропоеет несколько, и из кармана сигареты с золотым обрезом тянет. Фасонисто закуривает.

Где был, что делал, как воевал, что видел — про это у него спрашивать не надо. Наврет с три короба. И что ордена-медали ему за спасение интендантского склада от диверсантов дали! И Звезду Героя ему сам маршал вручал... Плетет невесть что. Спрашивать перестали, потому что поняли, Грач — это могила. Ему легче соврать, чем про дела свои рассказывать...

— Чего не здороваешься?

— Наше, с кисточкой...

— Все куришь? Ну-ну.

Грач усмехается, на Вадима Петровича Крючкова вприщур смотрит. У него к Вадиму Петровичу чувство двойное. С одной стороны, жалко человека, сердце у него, того гляди... А с другой, что-то это «того гляди» затянулось! И доверия не внушает — это Грач нутром чувствует.

Давным-давно, когда Грач еще грачонком был, нашел он в лесу земляничину. Гигант, не ягода, раскусил и... С тех пор землянику ли, клубнику ли есть не может. В этой ягоде улитка громадная оказалась. Ее и разжевал Грач, прежде чем сообразил вынуть изо рта ягоду странного вкуса.

Крючков напоминал ему тот случай.

Вадим Петрович на скамейку сел, дышит трудно. Голову откинул, похватал воздуха немного, пришел в себя, улыбается:

— Умру я скоро, Алеша, прошлой ночью так прихватило, еле до кухни дошел, надо лекарство запивать, а тут... Все думаю, амба.

Грач деликатно в кулак покашлял, что отвечать, не знает. Сам Алешка в своих хворобах и родной матери,

была бы жива, не признался бы. Свищ в животе зажил едва, и опять в том месте покраснел, как бы не прорвало. Вот оно, болото ржавое оказалось! И рана-то была, пустяк суший, грязь попала. Еле отходили, весь живот искромсали... Бок — это потом, когда в Берлине архивами занимался...

— Грач, за что Героя получил?

— Случайно.

— Врешь! Случайно можно по морде схлопотать, а Героя — это за большой вред фашистам. Ты, видать, отчаянный мужик, недаром в лагерях мыкался.

Грачу про это вспоминать неприятно. Стыд давно на войне кровью искупил.

— Грач, а в лагерях бьют? — Вадим Петрович засмеялся. — Поди, лупят чем попало, а кто не работает, тех в мешок камынный, а? Чего молчишь, не хочешь, не говори.

— Это по человеку судят. Иногда и убивают.

— Слышал, Рокотов приехал, Мишка. С девкой или с бабой, черт их разберет, но ничего ППЖ.

Грач быстро и внимательно посмотрел на Вадима Петровича.

— Крючков, походных и полевых жен у нас не было, понял? Фронтовые подружки — это да, мы с ними войну поровну делили, а иногда они побольше нашего хлеба-ли, — и, бледнея, шепотом добавил, — еще услышу, гад, хрип порву! Я бандит уголовный, срок сидел, и за тебя отсижу. Запомни.

Повернулся Грач и ушел.

А Вадим Петрович тихо посмеялся. Знал бы Герой, что правая рука у Крючкова минуты три гладкий спуск «Вальтера» в кармане щупает. Чем-то его Грач раздражал, а чем — не поймет Вадим Петрович. Потому и пристает при встречах с вопросами, не проходит мимо.

Один охранник лежал на мостовой, возле машины. Другой, раненный в руку и живот, стоял на одном колене, нелепо вытянув другую ногу в сторону, опустив голову вниз, стонал. Хлестнул еще выстрел, старичок-ин-

кассатор, взмахнув брезентовыми мешками, опрокинулся на спину...

Взревел мотор, машина, едва не ударившись бортом об угол дома, визжа колесами по асфальту, скрылась в переулке. Кричали люди. Из дверей сберкассы выбежали два милиционера, на ходу вытаскивая оружие, заметались около машины инкассатора, разом засвистели в свистки. Собралась огромная толпа.

Филя, сжавшись в комок, размазывая по лицу слезы ужаса, тыкал в спину шофера, что-то кричал. Шофер крутил баранку, сцепив зубы, нагнув лобастую голову.

На заднем сиденья хрипели, пытаясь отдышаться, Вадим Петрович и уголовник по кличке Кабан, кряжистый малый с маленькой головой кретина.

Через сорок минут были за городом.

Не доезжая станции, шофер круто свернул, на недоуменный взгляд Филя только оскалился.

Машину загнали во двор. Закрыли ворота. Дом был старый, полуразвалившийся, но в нем, судя по некоторым признакам, бывали люди.

Сидели за столом, пили, понемногу оттаивая после происшедшего. Припасы достал шофер из багажника, мимоходом буркнув, что расходы пополам. Филя пил водку мелкими глотками, жевал хлеб, мутно поглядывал вокруг от пережитого страха.

Вадим Петрович пытался улыбаться, но у него жал подбородок, и он то и дело придерживал его дрожащими руками.

Равнодушный шофер, сильный и злой мужик, трудился над большим куском вареного мяса, облизывал пальцы, испачканные в жиру, по-волчьи, не жуя, глотал. Только Кабан был радостно возбужден, пил третий стакан, громко комментировал:

— Главное, баба выскочила оттудова, а? Визжит, а Вадька мешки, смотрю, поволок! Ну, думаю, накрылись! Вадька прыг, я за ним. — Кабан ткнул пальцем в шофера. — Этот по газам, по газам! А теперь жрет, гляди, не подавится!

Кабан визгливо захохотал, откинувшись на стул, качался на нем, высоко задирая колени, упираясь подошвами в ножку стола.

— Заткнись, — поднял голову от стола шофер, внимательно осмотрел Кабана, подумал и добавил, — психуешь, в морду хочешь?

— Чего? — Кабан удивленно присвистнул, перестал качаться, поставил недопитый стакан с водкой на стол, хищно пригнулся. — Кому в морду?

— Тебе, кому, не психуй! Разорался.

— Хватит! — Вадим Петрович стукнул кулаком по столу. — Сядь, Кабан! Чтоб с этой хаты дня четыре ни ногой. Ты, Филя, всю бодягу с продуктами долой. Что у Марковны осталось, пусть ее будет, понял?

— Петрович! — опешил Филя. — Там тушенки двадцать ящиков, икра, колбаса, масла бидон.

— Брось! — жестко глянул на него Вадим Петрович. — Ты, думаю, заготовился неплохо, на век хватит?

Он повернулся к шоферу, долго одобрительно смотрел в его равнодушное, рубленное морщинами лицо, потом улыбнулся:

— Ты, мужик, номера не забудь снять. Машину отгони, и сюда своим ходом, как придешь, доля твоя отстегнется.

— Доля моя сейчас.

Шофер поставил локти на стол и, уперев на ладони лобастую голову, смотрел спокойно и тяжело.

— Не доверяешь? — ухмыльнулся Вадим Петрович.

— Я тебя не знаю, я с ним, — он кивнул на Филю, — договаривался. Его ответ, а ты для меня ноль, личность темная, с тобой говорить — смысла нет.

— Зря, — задумчиво сказал Вадим Петрович. — Очень зря.

— Петрович! — позвал тихо Филя. — Он нормальный парень.

Шофер улыбнулся.

— Меня защищать не надо. Я сам могу, понял? Сказано, доля здесь, сейчас. Я свое дело сделал! Больше вас знать не хочу. Без машины вы никуда.

— Завоеешь с вами, — устало сказал Вадим Петрович. — Так ты езжай домой, а? Придешь, тогда мы с тобой все и поделим, доля не убежит. Ну, что смотришь-то?

— Сказано, здесь, — шофер упрямо мотнул головой.

— Вот человек, ему все сразу! Ну, давай мешки.

Вадим Петрович откинулся к стене, прикрыл глаза.

Шофер секунду настороженно смотрел на него, потом встал, прошел к кровати, на которой лежали два туго набитых, инкассаторских мешка. Резко обернулся — Вадим Петрович сидел с закрытыми глазами. Филя смотрел в пол. Шофер повернулся, нагнулся к мешкам.

Выстрел грохнул в маленьком пространстве комнаты оглушительно. Шофер прыгнул в сторону, попытался обернуться, и ничком сунулся в пол.

Первым опомнился Кабан, с криком сорвался со стула, пинал неподвижное тело.

— На тебе, на, скажи спасибо, что только так тебя, я б в куски месил!

— Заткнись!

Кабан, опасливо покосившись на Вадима Петровича, сел к столу.

— Сходи, посмотри, — повернулся Вадим Петрович к Филе. — Дом вроде в стороне, но мало ли...

Тот, не сводя глаз с лежащего на столе пистолета, медленно попятился к двери, быстро прикрыл ее собой. Выйдя на крыльцо, он с облегчением вздохнул и потянулся, четко знал, что его очередь не пришла.

Заветная коробочка с камешками была у него. Коробочка с долей Вадима Петровича, считанные камешки, на стоимость каждого из них можно было построить двухэтажный особняк. И границу ему одному не перейти. А у Фили были ниточки, за которые можно было потянуть, и в дамки! Вдвоем веселее. А уж там, за границей, он не промахнется.

Он обошел дом, внимательно огляделся — все спокойно. Постоял у ворот, приоткрыв калитку, посмотрел на проулок, чисто. Вернулся в дом.

Три большие кучи денег лежали на столе.

Кабан счастливо жмурился, трогал новенькие пачки, то и дело подливал себе водки, глотал громко и противно. Вадим Петрович сидел, неподвижно обхватив голову руками, видно, болел проклятый затылок, он в последнее время досаждал изрядно. Филя присел осторожно к столу, налил себе водки, морщась, выпил.

— Что с ними делать будешь? — Филя кивнул на деньги.

— Я найду чего, я найду! — счастливо засмеялся Кабан. — Я в теплые края махну, вот чего! В Москве меня обыскались, мне нельзя здесь. Раз подхожу к дому, а из-за угла чистенький идет, ментяра с виду! Я шмальнул и ходу, пока они там нюхались, меня нет. Понял?

— Что ж ты про это раньше не рассказал? — сокрушенно вздохнул Вадим Петрович.

У его напарника медленно и страшно расширились зрачки, он хотел что-то сказать, но осекся, наткнувшись на пристальный взгляд Крючкова.

— Это ты, брат, зря, надо было рассказать, мало ли чего? Тебя по всей Москве шарят, а мы с тобой дело имеем.

— Я их сам рвать буду! Меня под «вышку» просто так не сунут! Чего ты?

Кабан, не шевелясь, смотрел в черный «глаз» пистолета. Хрящеватые уши его двигались сами собой, он взмок и, растерянно улыбаясь, вытирал пот с лица и шеи ладонями.

— Ты чего, я тебе чего плохое, да?

— Плохое, брат, очень плохое. Встань, отойди вон туда.

— Ты деньги возьми, слышь? Мне не надо! Я себе накнокаю, если чего, ты их бери.

Кабан мелко отступал к стене, оперся рукой о выступ печки, икал со страха. Вместе с выстрелом он тонко завизжал, но тут же захлебнулся, выгнулся, и ударился об пол, затих.

— Ну, вот.

— Теперь, моя очередь, Петрович, — неожиданно спокойно сказал Филя.

Вадим Петрович вылил из стакана водку на ладонь, сильно растер руки, стряхнул, только после этого повернул к Филе потемневшее лицо.

— Дурак ты. Мы с тобой отсюда вместе уйдем. Шофер жадный был, с такими опасно, а этого придурка я не шлепни, так «уголовка» загребет. Он бы нас заложил за милую душу. Так что расклад верный, думаю... Деньги спрячешь, потом разделим. И мне лишнего не надо! Скоро в дорогу дальнюю, а ее нам вместе топать? Так?

— Так.

Филя кивнул. Он испытывал непреодолимое желание всадить нож под этот сытый подбородок, поэтому, чтобы не выдать глазами сокровенное, отвернулся, стал сметать со стола крошки. Вадим Петрович чуть заметно улыбнулся.

В полуподвальную комнату человек пятнадцать набилось.

Всем хотелось живого Мишку Рокотова посмотреть и пощупать. Женщины его непременно целовали, по вихрам трепали и, конечно же, плакали. Мужики за руку здоровались, а потом, как сговорившись, по спине бух да бух! У Мишки от этих буханий спина онемела, а они все не кончаются.

С Фаечкой немного настороженно здоровались, оглядывали украдкой. Сапожник Нефедов, у которого трое сыновей погибли, дочь, без вести пропавшая, попробовал с расспросами приставать, кем она Мишке приходится, но Максимовна его с ходу к Старику Туманкову пересядила.

К столу, кто что мог, тот и принес. Бронька опять всех удивила, такой пирог смастерила, умереть — не встать! Сверху он американским джемом обмазан, внутри гущенное молоко с яблоками, а в середине горка из толченых орехов. И где орехи, такос чудо, раздобыла, уму непостижимо!

Мишка за погибших на этой войне душевный тост сказал. Выпили стоя. Фаечка во все стороны глазами по-

стреливает, кудряшки на висках толк-толк. Помалкивает, изредка «спасибо» выронит, это когда Пенкин, взявшийся за ее тарелкой следить, чего-нибудь положит.

Поплакали на Нефедова, он тоже речь сказать хотел, про сынов погибших, танкистов сгоревших, про дочь Полю, которую все ждал и ждал. Речь не вышла. Нефедов слова какие-то промямлил, потом на стул упал, стопка в руке трясется, губы трясутся, и... отвернулся, рукавом закрылся.

Митенька-почтальон Нефедову кивает. Ему водки не дали, а вот студня целую тарелку навалили. Митенька студень ест, всем улыбается, кивает согласно. Забыл убогий, что похоронку на Полю Нефедову он под кустами давно закопал...

Пенкин чуть не внес сумятицу в только-только наладившееся веселье. Показалось ему, что Алешка Грач на Тосю заглядывается, повышенное внимание ей оказывает. Стал следить, а как Грач, с Тосей чокаясь, еще губами поцелуй изобразил, тут Пенкин костыли подвинул и встал. Подтянулся на костылях и тихо сквозь зубы Грачу:

— Ну-ка, ты! — щека у Пенкина прыгает. — Пойдем, покурим, ну?

Старик Туманков сноху в бок, мычит, рот студнем забит, на Пенкина головой кивает. Тося косые взгляды Пенкина давно уловила. Сначала посмеивалась, все-таки лестно, когда мужик ревнует, а потом на скулы каменные глянула, на глаза Пенкина, и испугалась.

Пенкина всем столом на место усаживали, хохочущего Грача на другой конец стола пересадили, к Броньке. Грач Броньку оглядел, хмыкнул и петухом взвился.

— Винегрету?

— Спасибо.

— Тарелочку! Вот, теперь порядок. Платье сами шили?

— Сама, кто ж еще.

— Шикарный вырез. Бусы лежат — это хорошо.

— Что?

— Говорю, когда бусы на груди у женщины не висят, а лежат — это хорошо. Почему на «вы»? На «ты» идет?

— Идет.

— Итак, — Грач откинулся на спинку стула. — От вас, как я слышал, муж ушел?

— Плохо слышали, это я от него ушла.

— Какая разница? От меня жена никогда не уйдет. Она меня ревновать по-черному будет.

Бронька повернула красивую голову, чуть усмехнулась.

— Это почему же?

— Секрет знаю.

— Видали? — Бронька плечами презрительно пожала. — Теперь вы распегушитесь, фронтовички, нас на каждого из вас по десятку. А толку?

— Тебе какой толк нужен? — Грач придвинулся, жарко в ухо Броньке дышит. — Ты про любовь-то слыхала, с чем ее едят?

— Говоришь, любовь... Товарищи, минуту!

Бронька из-за стола выскочила, кинулась к своей сумке, копается.

— Я сейчас! Господи, где же? Слушайте, что лунатик мой бывший про любовь пишет! Это он повесть начинал, я нашла, «Потрясение» называется, значит, так.

Бронька вышла на середину комнаты с толстой тетрадкой:

— «Он бежал в атаку и пел. Перед ним мелькало лицо любимой. Улыбалось оно ему ласково, родные глаза прямо в душу смотрели. Волосы ее пахли резедой, и Павел почувствовал запах резеды. Он перепрыгнул через воронку от крупнокалиберного снаряда, перебросил автомат из руки в руку...».

— Чего? — вскинулся Грач. — Ловко, как яблоко.

— «...из руки в руку». Некоторых попрошу не мешать! «...и побежал. Беспощадная ненависть к врагу стучала в его сердце. Он крикнул: «Гады, за отчий дом, за тебя, любимая!» и кинул гранату. Все сильнее пылала в его сердце любовь. Призывала бить и бить

ненавистного врага, фашистскую свору...». Все, больше не могу.

Бронька плюхнулась на стул, тетрадку небрежно бросила рядом с тарелкой со студнем.

— Чего она? — обеспокоился Нефедов. — Написал мужик красиво.

Грач скатерть задумчиво гладит:

— Попадет такая пакость куда-нибудь, и напечатают, а? Потом дети читать будут, вот, мол, свидетель живой войны.

— Не был он в атаке, — Мишка Рокотов по столу кулаком грохнул, опомнился и Фаечке виновато улыбнулся. — На войне убивать надо, там лиц любимых не мелькает.

Отодвинул Грач стул, кивнул всем и вышел.

Бронька вечер молча просидела, то и дело, на дверь оглядывалась, а как уйти, расплакалась. Долго ее успокаивали, Тося за валерьянкой сбегала.

Невесело вечер кончился.

Максимовна в недоумении. Дождалась, когда Фаечка вышла, и к Мишке:

— Мишка, стелить-то где, вместе, ай как?

Побагровел Мишка, на мать не смотрит, гимнастерку на стуле распялил. И так повесит, и так, не нравится, снова перевешивает. Максимовна растерялась, стоит столбом среди комнаты, на сына удивляется.

— Мишка, ты что ж, не живете, что ли? — пытливо всматривается. — С ней-то, не живете?

— Мамка! — прокуренным басом Мишка взорвался. — Чего пристала-то? Товарищ она, ясно? Невеста.

— Караул, — Максимовна шепотом. — Губошлеп, ирод ты мой! Невеста? Выходит, и не было ничего промеж вас? Как же ты воевал, господи, это ж с ума снять можно? Ты хоть знаешь, что и откуда растет-то? Ушел телок, пришел телок, какие бабы на свете, не знает... У нее-то до тебя был кто, Миньк? — встrepенулась.

— Чего городишь? — Мишка с перепугу в сапоге запутался. — Чего городишь? Был, не был, какая разница? Мы записываться будем, в ЗАГС пойдем завтра.

Максимовна пригорюнилась.

— Разница ему... На полу ляжешь, я те дам, разница! Она на кровати, я на сундуке, все, — решительно рукой рубанула.

Фаечка в комнату вошла, хитрющими глазами постельный расклад сразу высмотрела. Спокойно подошла к кровати и одеяло с подушкой на пол переложила.

Максимовна совсем растерялась. С сундука тряпки бестолково на пол сваливает и опять их на сундук накладывает. Мишка усиленно в окно смотрит, у самого шея кумачом налита. Так выгнулся, что чуть ее не свернул.

— Чего я забыла? — Максимовна озабоченно. — Пойду к Клавке Самохиной, просила она меня порточку малому прострочить. Может, заночевать там, а? Комната одна у них пустая, Сашка-то в ночь.

Фаечка через голову гимнастерку тянет. Максимовна на нее покосилась, и успела углядеть, как зубы белые сверкнули в улыбке. Максимовна ни жива, ни мертва. Батюшки, облапошила моего ирода-то! Что делать?

— Иди, мамка, — Мишка буркнул, не поворачиваясь.

Максимовна толкнула дверь, вышла, долго в пролете лестничном на темноту таращилась. Потом всплакнула и пошла к Клавке, жаловаться.

За четыре года опалила война Мишкину душу, высушив не только тело, но и присущую его возрасту суету и легкомысленность. Девятнадцатилетним парнем прошел он ее суровую школу.

Память хранила много: человеческие крики в горящих, как дрова, танках; вмерзшие в лед и снег полураздетые тела; дорожные указатели из поставленных стоймя трупов с руками-стрелками; запах пепелища с развалившейся трубой, разбросанными истлевшими вещами, куклами без волос, детскими картинками; полет человеческого тела,

брошенного в воздух могучим фугасом; горечь потери друзей и неистовое торжество над поверженным врагом...

Не было в его памяти самых обыденных вещей — женской нежности, ласковой теплоты слов любви, немудреных, бесхитростных и желанных.... Да и кто сказал, что это вещи обыденные?

Как бы то ни было, но он в первый раз в жизни остался с женщиной наедине.

Мишка не понимал, что шепчет ему Фаечка, просто в его молодом, но уже суровом сердце, словно оттаивала глыба скопившегося в лютом холоде льда, текли неспешные ручьи, наполняя тело сладкой тревогой, невероятной нежностью и истомой. У Мишки кружилась голова, и хотелось, как в детстве, спрятаться лицом в спасительные ладони, выкрикивая с неистовой верой и надеждой: «Меня нет!».

— Миленький! Родненький ты мой! Мишенька... Ты мой, да? Если пропадешь, я умру, слышишь?

— Я все-все слышу. Знаешь, как тебя ждал?

Тянулась ночь бесконечно. И учились они, люди, постигшие науку убивать, самой простой и непостижимой от сотворения мира науке, любви.

Максимовна ночь на раскладушке проворочалась. Утром в свою комнату первый раз в жизни постучалась. Никого. Вошла, впопыхах чуть ключ в замке не сломала. Огляделась: все прибрано, даже пол выметен. На столе записка, ну-ка, чего они там? «Мама, скоро будем, пошли в одно место».

«В одно место». Максимовна без сил на стул рухнула, заплакала в голос. Но быстро вспомнила про то, самое главное, что на раскладушке за ночь выдумала... «У вас свое, значит, место, а я... Куда они ее задевали-то? Мудрят, ироды!».

Второпях лбом о шар металлический, красу и гордость старинной кровати. Это она, хитра, ох, хитра! По фронтам-то наострилась, видать... Наметанным глазом по комнате зашарила, за сундуком нет, в тазу нет, в

шкафу разве? Нет, господи, куда они се пихнули? Белье нестиранное в наволочке — тоже нет!

Взгляд Максимовны на вещевой мешок Фаечки упал. Покружила она, себя подразнила и не выдержала, трясушимися руками тесемку развязывать стала.

«Сюда простыню затырила, точно!» — туго завязано.

«Ну-ка, мы эти штучки знаем, потом, что ни говори... В старину как, сначала на утро смотр делать, потом гостей допаивать, и позора на родителей, на невесту не дадут, если все, как надо...».

Развернула Максимовна смятую простынь и...

— Голубка ты моя, ластонька! Девчонущка моя ненаглядная! Сберегла честь для оболтуса. Отец, отец, Костя! Сынок-то, сынок нам жену привез, Фаечку!

Упала на пол, сгребла простынь в комок, к щеке прижала, и, счастливыми слезами умываясь, на портрет мужа смотрит. Теперь верила она свято, что слышит он ее из далека-далека, слышит, и вместе с ней радуется глупому, может, но бабьему счастью, что все по-людски, все, как надо, и мы не хуже, и мы живем.

И стала Максимовна внуков ждать.

Пенкин, Пашка и Кешка затеяли из доски строгать пистолеты. Шум подняли — ужас. Сначала долго вытаскивали из пашкиного грязного пальца занозу. Пашка блажил, лягался и мотал головой. Нашли йод, и тут же разлили его по полу. Злорадный Кешка сначала сбегал наядбедничать деду, потом полез за тряпкой.

По дороге он развеял в пыль дедову чашку, за что заработал от Пенкина «леща». Потом Пенкин держал Пашку, а Кешка, высунув язык и, садистски улыбаясь, лил йод на ранку.

На крик пришаркал Старик, качал головой, жевал губами и укоризненно хмыкал. Увидел чашку, вернее, то, что от нее осталось, и разорался. Но чашки не вернешь, поэтому осколки вымели, ранку продезинфицировали, а Старик ушел дремать, погрозив всем кулаком.

Пенкин строгал, Пашка и Кешка стояли напротив, высунув языки, голова к голове, встречали с советами.

— В ручке надо дырку сделать, обойму совать. А «Вальтер» как бьёт? Насквозь всего, или не шибко?

— погоди, дурак, сперва надо мушку сделать. Кешка, черт, не пихайся! У Серого во дворе с мушкой, ему отец сделал. А с винтовки через все поле летит?

— Дядь Жор, ты его не слушай, у тебя все равно лучше.

— Сафрониха сказала, дядь Жор, тебе ногу из железки сделают, на нее можно сапог или валенок одевать. А как тебе ее прикрепят, пришьют, что ли? Где их делают, ноги железные?

Тося через широкую дверную щель смотрит: Пенкин двойняшек между костылем и ногой зажал, попеременно то одного, то другого в носы чмокает. Они дрыгаются, но не сильно. Правда, от нетерпения скорее пистолет заполучить и на лютой стрельбе его испробовать то и дело косятся на стол, где пистолет этот самый лежит. Выстругано «оружие» аккуратно, обожжено и, для пущей важности, покрыто лаком.

— А чего ты с мамкой не женишься? Нам тетя Броня говорит, не слушаемся, от этого ты нам не папка.

— Правильно говорит. — Пенкин с одного веснушчатого лица на другое глаза переводит. — Если б еще убирали за собой, а то за вами мать с дедом ходят.

Пенкин, через дверную щель Тосю увидел. Перенугался, двойняшек с кухни турнул, руками по карманам шарит — курево спасительное.

— Ты сядь! Ну, вот... погоди, так сразу-то не получится, а? Папирсы сырые, глянть, расползаются... Так вот, Тосенька, уезжаю.

— Что?

— Не клеится у нас, вот чего. Помолчи, я эти слова всю ночь обдумывал. Люблю тебя смертно, и нет таких слов, чтоб я это в точности описать мог. Но, не дойдут они до тебя — все, амба. Вот и получается, что один вы-

ход, надо мне ехать. К детям привык, они тоже ко мне прикипели.

— Жорка, они скучать будут.

— Кому сказать, не поверят, что у нас с тобой и не было ничего. Мужик в доме... Смехота, говорю, одна. Ладно.

Пенкин положил руку на Тосино плечо, легонько сжал, смотрел ей в глаза грустно и сильно как-то. От этого у Тоси голова закружилась.

— Тосенька, девочка моя фартовая, дед вон влиять на тебя собрался, а я не разрешил. Если не лежит душа, что ж... Нога — это плевое, мне в футбол не играть. Учиться пойду в Литературный институт, а билет взял на послезавтра. Ты ребятишкам не говори, только Старику, он и проводит потихоньку. Пацанам рогатки сделал, ты их не выбрасывай, ага? Слышишь?

— Слышу...

— До лета в Туле проживу, у друга, списался с ним. Потом в институт, а там общага, как положено. Так-то вот, Тосенька, такие дела, ну, чего молчишь?

— Я молчу... Я очень молчу, Жорка! Так молчу, что... Дурак ты.

Встала и пошла с кухни. И остался Пенкин с разинутым ртом, и незажженной папирсой, приклеенной к уголку нижней губы.

Ночью он опять в потолок смотрел, светлые капли от фар наплывающих выглядывал, прислушивался к звукам ночного города. Идут машины, и все мимо, мимо, мимо... И он, выходит, тоже мимо проехал. Потянуло теплом и счастьем неведомым, а так ничего, оказывается и мимо -- тоже хорошо. Вроде, прикоснулся к чему-то светлomu, его теперь надолго вспоминать хватит.

Крутит Пенкин дырку в ветхой тельняшке, горечь от табака проклятого во рту копится.

Дверь скрипнула. У Пенкина испарина на лбу выступила — идет к нему в ночном сумраке фигура тонкая, тихо плывет, под босой ногой пола не слышно, а половицам лет тридцать, не меньше!

— Тоська! — Старик из темноты другой комнаты всполохнулся. — Чего ты?

— Спи, пап, спи.

Фигурка опять к двери на цыпочках, плотно ее прикрыла, ни щели, ни зазоринки. Будто ворота, только куда — в рай, ад ли?

...И пил Пенкин пригоршнями березовый настой-сок текучий... Вроде не ко времени, да береза сама знает, когда ей наливать, соком набухать. Пил, томясь всем наболевшим за годы сердцем, бродил по его крупным венам хмельной напиток, кидался в голову круженьем радостным. И не было этой жажде конца и края...

Утром Старик просунул в их комнату кудлатую голову.

Все внимательно разглядел, зашел, встал посреди, ехидно щурясь, тощий живот под майкой чешет. Губами пожевал и ближе просунулся.

— Ну и чего? — шепотом.

— Чего «чего»? — Пенкин на спящую Тосю покосился, не разбудить бы.

— Зачевокал! Ботинки, говорю, шантрапе справлять надо, слякоть скоро.

— Ну и чего?

— Сбрэндил, что ли, на радостях-то? Ты теперь кто?

— Кто? — удивленно Пенкин брови поднял.

— Голова, вот кто! — разозлился Старик. — А раньше шалтай-болтай был, вот кто. Раз голова, ты и думай, я, может, помру скоро.

— Мы тебе не велим, да, Жорка? — Тося, не открывая глаз, тихо.

— «Велилка» нашлась, мои сверстники давно на кладбище с птичками беседуют.

— Скучно, пап. Ну их, птичек-то? — Тося хитро один глаз открыла.

— Тощать начал ты, дед, — в тон ей Пенкин сочувственно. — Это от вредного характера. Сначала характер надо исправить, потом о душе думать.

— Тыфу ты, господи, ну вас к чертям! Я про дело, а им язык чесать. Жорка, ты Пашку выдери, он нын-

че съел целую банку тушенки с самой рани. Пока я в комнате был, а вы дрыхли, так он прибрал, триста граммов — это какую утробу надо иметь? Выдери беспременно, а ты, Тоська, накажи, чтобы с ними, дьяволами, Сонька на Язу не бегала. Утошнет девка. Мужик прошлый месяц утоп?

— Все вопросы, пап, к Пенкину. Ему поручи. Ой, мамочки, вставать неохота!

— Жорка, ты ей спать много не давай, от этого баба портится, в ней червь заводится. Точить будет.

— Кого, пап?

— Мужика точить будешь, кого. Вставай! Опять мне похлбку варить? Совсем заездили, все, уйду от вас, в сторожа пойду, там зарплата и чаевые.

— Это где ж? — Тося руки за голову закинула, тянется.

— В ресторане, где. — Старик с неодобрением смотрит. — О, потянулась, ишь, того гляди, кобылицей, заржст! Уйду, вот крест, уйду, там мундир дадут с галунами, генералом стану. Вставайте, проклятые, не то водой окачу. Мало в дому двух басурманов и девки несмышленной, еще и эти вывелись.

— И чего кричит, Жорка, чего он кричит-то? Кто в доме хозяин?

— Вот как? — Старик вытаращил глаза. — Забастую, будет вам хозяин-то, Жорка, пихни ее с кровати, чего скалишься? Ровно полтинник нашел, бестолочь...

— Мам, а Паска с Кеской делутся!

— И эта пришла!

Крошечная Сонька протопала, с разбегу за руку Пенкина уцепилась, и в кровать между ними. Тося дочь в ухо чмокнула. Сонька смеется, в калач свернулась.

— Караул, вставать неохота, так и лежала бы!

— Мам, свали кисель сладкий, ага?

— Дед сварит. Все, встаю, а ты лежи, доченька, с отцом лежи, ладно?

Пенкин побледнел, только хотел голову к Тосе повернуть, как она через него прыгнула, и босиком ушла.

в другую комнату. А Старик всей пятерней от затылка до подбородка провел, заморгал, но справился. Крякнул и пошел, дверь прикрыл тихо.

Вскоре оттуда рев Пашкин, Тосин смех и дедово ворчание — все разом.

Пенкин лежал, молча Сонькино личико разглядывал, словно в первый раз увидел, и веснушки, и ресницы длиннющие, и картошку носа маленького, и все в первый раз. И Соня на него, совсем по-новому, смотрела. Немного испуганно, чуть насмешливо и ласково. И тоже все разом.

Так не бывает? Еще как бывает. В жизни все разом случается, и смерть, и рождение, и радость, и беда — все разом приходит, короткая она, жизнь.

Что Пенкин и Тося зарегистрировались, Старик узнал последним, со злости плюнул, наорал, что они «шпионы, дураки и скрытники». И уволокся куда-то за речку Хапиловку, где у него жил друг, а у него можно было разжиться вином за умеренную плату, тем более, что крепость этого вина, была выше государственного.

Гостей пригласили на субботу.

Алешка Грач на свадьбе больше всех суестился. Броньку умотал. Все со смеху умирали, когда он с ней «мазурку» начал выделывать. Никакой мазуркой там и не пахло. Танец Грач на ходу выдумал. Ногами кренделя выписывает, а лицо каменное, не поймешь. Это, по его мнению, буржуи в таком танце жизнь свою прожигали.

Бронька пробовала вырваться, чувствуя, как некая пуговка на спине, того гляди, отвалится. Но Грач ее так стиснул, что она только ойкала. Пуговка, наконец, отвалилась, и Бронька, вырвавшись, убежала.

В самом начале свадьбы Грач стакан граненый поднял:

— Тося и Жорка! В победный год решили вы жизнь соединить. Самую красивую женщину Москвы умык-

нул — это я ему официально говорю. И выпьем мы за Пашку, Кешку и Соньку, что нашли они себе отца.

Выпил Грач стакан до дна, на свое место сел. Тося ему широко улыбнулась. Пенкин понимающе кивнул. А Старик тоста Грача не понял, обиделся люто, на ухо Нефедову жужжит.

— Старый, чего этот черт плел-то? Детям желает, а про молодых ни слова!

— Брось, про Жорку он говорит, мол, без выпендрежу парень, чего тебе еще? Тоську самой красивой в Москве назвал.

— Слепошарый ты! Это он на Тоську губищи распустил, — Старик отвернулся, посидел немного, застолье оглядел, и взревел жутко. — Горько, не идет, мать — честна! Ну-ка, ты! — Броньку за руку из-за стола тащит, пихает ее в бок, суетится. — Пляши, чего сидишь-то? Горько!

Милиционер Кривин сладко прищурился, взял гармонь, растянул меха...

А Старик, неожиданно для окружающих, рывкнул такую соленую частушку, что все сначала опешили, а потом грохнули со смеху. Прямо покатались, до того смешным оказался испугавшийся собственной выходки, с открытым ртом и выпученными глазами Старик. Он махнул с досадой, и пошел на лестницу курить.

Несчастливая Бронька от Грача руками-ногами отбивалась. Он ее к потолку бросал, и вокруг себя вертел, и на руки поднимал. Плечами дергает и вскачь по комнате, а Бронька вокруг него бабочкой вьется.

Фаечка с милиционером «Рябину» на два голоса петь пытаются. Милиционер Кривин одно и то же выпекает — «...до самого тына» и все... Остальное забыл. А Фаечка на его завывания морщится и дальше песню ведет. Мишка на нее блаженно щурится, то и дело, что-то с плеча снимает, или руку под столом гладит.

Максимовна не нарадуется, Любке Букиной весь бок протолкала, та даже заругалась. Муж ее, Димка, пере-

брал маленько, на спинку стула откинулся, дремлет, но сквозь сон ли, дрему ли, а улыбается.

А Бронька с Грача глаз не сводит. Тревожно смотрит, немного жалобно. Ее муж, литератор беспутный, на другом конце стола сидит. Его из приличия Грач по поручению Пенкина пригласил, а он возьми, и приди! Рядом с генеральшей Михеевой оказался, пытался ей спяна стихи читать.

Генеральша, дама деликатная, сначала хихикала, а когда вольный боец газетного фронта такое загнул, что даже у нее, к командному фольклору привыкшей, чуть парик с головы не слетел, отсела от литератора.

На другой конец стола перебралась, оттуда весь вечер на Вельского изумленно выглядывала.

Влюбилась Бронька в Грача мучительной и тревожной любовью женщины, обжегшейся семейной жизнью. А выяснилось это случайно, благодаря Вельскому.

Открыл Грач с руками мокрыми и мыльными, холостяцкие постирушки устроил. Открыл дверь, и от удивления отступил назад, чуть на половой тряпке скользкой не упал. Стоит перед ним Иннокентий Вельский, при галстукке, богемная борода расчесана, в руках свертки, из кармана бутылка торчит, горлышко ее газетным свертывшем заткнуто.

— Можно? — Вельский ногу с форсом отставил.

— Ноги вытирай, а то полы мыл.

— Ноги мы вытрем, ноги — это пустяк! Я их так вытру, что все будет «гутен таг!».

Бормотал Вельский невразумительно, туманно, ногами о половую тряпку долго шаркал, а Грач смотрел изумленно. Сроду у него никаких дел с этим балаболкой быть не могло.

Грач мыльную пену с рук ополоснул, и в комнату. А Вельский закуску на столе разложил, ногу на ногу закинул, сидит — форс показывает. Брезгливо немудреную обстановку в комнате Грача осматривает. И чего ее смотреть-то? Буфет обшарпанный, кровать с тонким

матрацем, стол, три стула и книги на подоконнике — все.

— Разговор будет мужской.

Вельский хмурится, богемной бородой дергает. Поднял на Грача глаза, смотрит сурово.

— Ну, так что? — Грачу смешно, сле сдерживается.

— Не перебивать! Слушать внимательно, — Вельский переносицу потер. — Ты, Грач, правительственной наградой отмечен? Человек интеллигентный. Так вот, жена моя, Бронислава, от меня ушла.

— Сбежала, — сочувственно кивнул Грач.

— Чужая семья — потемки, имела несчастье, короче, если доходчиво, в тебя влюбиться, Грач, — с завыванием произнес Вельский, и Грач встревожено взгляделся в него. — Это она мне приватно вчера сказала, и еще сказала, что у вас взаимно. Я ее, Грач, знаю, что в голову вобьет, ничем не вышибешь. Бронислава тонкая женщина, она тебе не ровня, хоть и Герой, наградами увешан, но ты на это не рассчитывай. Я, может, сегодня просто, а завтра кто? Кто я завтра, Грач?

— Кто ты, Кеша?

Ласково спросил Грач, разглядев, что литератор держится на чудовищном волевом усилии. Лыка не вяжет.

— Классик я! Повесть пишу, там правда о войне, вся как есть.

— Не «Сотрясение», случайно? — коротко осведомился Грач.

— Сотрясение в мозгах бывает, а повесть называется «Потрясение».

— Ты, Кеша, больше не пей.

— Мое дело. Ты ей больше глаза не мозоль, понял? Мне без нее нельзя.

Вельский выпил полстакана водки, поморщился, помотал над закуской рукой, вздохнул, и не закусил. Навалившись на стол грудью, приблизил к Грачу измученное, скукоженное лицо.

— Что ты ей дать можешь, а? Страдалица она, ясно, но брошу я, Алеша, пить брошу, я талантливый. Для вас

я попугай, попка дурак! А если у этого попки Бронька — все, что в жизни осталось? Приходят такие Герои, и бежит баба, куда глаза глядят. Грач! — Вельский испуганно смотрел Алешке в глаза. — Я тебя убью, Грач, возьму топор и по башке твоей героической тресну, что тогда?

— Тогда, Кеша, посадят тебя. — Подумал Грач и покачал головой. — Нет, расстреляют. Героев убивать нельзя, так что иди домой.

— Отлуплю! — взорвался Вельский. — Я отлуплю тебя, и всю морду побью!

Смешно Грачу, стыдно и грустно. Взял он литератора под локти, в карман недопитую бутылку сунул, в другой сверток с колбасой и повел к двери.

Дальше...

А дальше, как было, Максимовна бывшему боцману Карасеву рассказала.

— ...и бегу, ног не чую! Фаечке молока надо? Хоть и порошковое, все витамин. Дорого, а дочка все ж таки, Ну, вот, бегу, ног не чую. Только из-за угла, а они из подъезда. Тут лунатик разворачивается и Грача по уху хрясть, а потом он его оседлал и давай ему, как свинье, уши накручивать.

— Грачу? — изумился боцман.

— Зачем, Грач ему уши крутил, чтобы протрезвел, лунатик-то. А уж орал, писака-то наш, ну, думаю, стекла повыпадают! Я Грача тащить, а он, не смотри, что сухой, здоровущий. Все, думаю, отвинтит он ему уши, быть суду.

— Кто ударил первый?

— Говорю тебе, лунатик.

Боцман насмешливо посмотрел на Максимовну, откашлялся.

— Ладно, мне до их дурацких дел дела нет. Замуж пойдешь?

Максимовна виновато улыбнулась. Сидела, потупившись, ботинки свои рассматривала. Потом тихо так говорит:

— Дети взрослые, Фаечка, может, забеременеет, кому глядеть за ребятишками-то?

Она жалобно, снизу смотрела на Карасева, то и дело поправляла выбивавшуюся из-под платка прядь волос.

— Зря ты так, — Карасев махнул рукой и пошел, у подъезда остановился, оглянулся. — Ключ там же. Кончай ты эту бодягу, Максимовна. Нам не по двадцать, и даже не по тридцать... Чего стыдиться? Украли или долг не отдаем? Дети, они и так, при нас останутся. Ладно, я к сестре, а потом домой.

— А чего у нее, заболела, что ли?

— Племянник вернулся из плена, забрали его. Сестра воеет, а чего я могу? Может, проверят и отпустят... — он зашел в подъезд.

Максимовна с сомнением покачала головой.

Грач рядом с Митенькой на скамейку сел, руку почтальону пожал. Митенька Грачу рад, заулыбался, закивал, за плечи его трогает.

— Чего это ты, Митька, как майская роза цветешь?

— У Михеевой чай пил-пил, пил-пил, Митя мог лопнуть.

— С чем чай-то пил, с пирогами?

— С сухариком, потом с пеценюшкой, — ласково протянул Митенька.

— Чай, говоришь? Могла бы еще чем угостить, генеральша твоя, а то с сухариком. И силен, ты, Митька, видно, рубать? Ну, брат, молодец. И есть у меня к тебе одна просьба.

Грач огорченно брови выгоревшие свел, челкой мотнул, на скуластое, худое лицо почтальона покосился.

— Мить, ты мне друг?

— Длуг, как зе, босой длуг. Вот какой! — почтальон руками развел.

— А раз друг, выручай, Митя. Сварил, понимаешь, борщ, а есть некому. Кастрюля целая борща этого. Божь, прокиснет, что делать будем, а?

— Беда! — почтальон не на шутку встревожился, к Грачу подвинулся, рот открыл, глазами хлопает. — Мясца есть?

— Не говори, Митька. Здоровущая кость с мозгом. — Грач кулак показал. — Что, брат, делать? Не знаю... Пропадет, прокиснет борщ-то, а ты вот сидишь тут, и другу помочь не можешь.

— Я? — на Митенькином лице отразилась борьба, он чуть не заплакал. — Мамка побьет меня, Глач, она сыбко лугается, када я кусать к людям хозу.

— Не скажем мы ей, Митька. Я — могила. Ну, ты мне друг? Выручай.

— Безым хлебать, Глач, плопадет болщ! — Митенька встал решительно.

У Митеньки живот «внутри выпуклый», как говорит Максимовна, но если надо — Митенька в него много чего уместить может, а ради друга — это еще больше. Тем более за Грача. Грач, он кто? «Он гелой всего мила, у него такеенная звезда есть! Он всех влагов убивал-убивал, устал дазе...» — вот так Митенька своим другом в районе хвастался.

Только собрались идти борщ выручать, им навстречу через сквер «каравелла» плывет, форштевнем прямо на утес одинокий — Грача растерянного — правит.

— Лунатик мой бывший у тебя был? Ну и что?

Бронька руки в бока, ноги на ширине плеч, грозно смотрит.

— Ничего.

Грач в глаза ее нырнул, скользнул взглядом по губам, мягким линиям шеи, оробел.

— У нас болщ плопадет, ты, Блонька, иди. Безым, Глач! — Митенька влез.

— Ты, Грач, не вздумай ничего в голову брать, понял? Он болтал, наверное, что я влюблена в тебя, так? Ничего особенного, ясно?

— Совсем? — Грач перепугался.

— А ты, как хотел бы, чтобы не совсем?

— Пойдем мясу есть, ну ее. Она лугается всегда, ну ее, Глач!

Только Броньку знать надо. Бронька на весь свет одна бывает.

— Тоже борща хочу. С мясом. Женщина голодная с работы идет, при ней про борщи разговаривают — это как? Вы что же, от голодной женщины мясо в борще сквалыжить будете? Мужчины или нет, а ну, ведите, где борщ выдают!

И пошла.

И они за ней поплелись. Переглядываются два мужика — один растерянно и восхищенно головой качает, другой с обидой, Митенька и сам может с борщом как-нибудь, без помощников управиться.

Митенька вторую тарелку доедает, борщ — что надо, так что с него пот градом, бедный почтальон, то и дело, рукавом телогрейки утирается. Хлеб в солонку истово макает, сначала соль языком слизнет, потом хлеб кусает, прожует и — ложка за ложкой! — поехала мельница.

Когда Грач здоровущую кость из кастрюли выволок и перед Митенькой на тарелке устроил, у него от восторга слезы выступили. Губы трубочкой сложил, на кость прищурился. Осторожно ее за горло, за то место, откуда толстым розовым шнуром мозг выставился, и — хлюп! Горячий сок течет, Митенька ладонь подставил, на Грача косится, во весь рот улыбается.

У Броньки с Алешкой едва по пять ложек убавилось. Глаза поднять боятся, словно застыли разом. Бронька ложку медленно наклонит, глотнет неслышно, и так же медленно вниз несет.

Грач, словно кол проглотил, слушает столовые звуки, сам не смотрит, очень сосредоточенно капусту в тарелке гоняет.

Не успел Митенька вторую тарелку освободить, с костью справиться, как Бронька ему:

— Господи, ты и не ел ничего! Тарелка пустая, а он сидит.

— Митька, я тебе погуще? Рубай, боец, рубай, пропадет борщ, беда.

— Беда... — согласно кивает Митенька, с опаской на новую полную тарелку смотрит, такая напасть свалилась.

Хотел отказаться от третьей, но не додумался. Шмыгнул носом, напрягся, и съел. Встал из-за стола, качается на слабых ногах. Блаженной улыбки, как и не было, вместо нее ухмылка редкой злорадности — не пропал борщ. Для верности в кастрюлю заглянул — пусто.

Бронька неверно поняла, так и вскинулась.

— Митенька, не наелся? Хозяин непутевый попался. Давай я тебе из своей тарелки добавлю.

У почтальона вместо скудных слов, то ли хрип, то ли мычанье вышло. С ужасом на Броньку посмотрел, и из комнаты попятился. Хлопнул дверью входной.

Бронька и Грач вдвоем остались.

— Голодный ушел, — вздохнула Бронька.

— Недоглядел, — и Грач вздыхает.

Бронька сидит за столом строгая. Руки перед собой странно положила, ладонями вверх. Грач смотрел на ладони, смотрел, нагнулся и поцеловал одну, а другую свободной рукой накрыл. Другая рука в это время незаметно сердце придерживала — чуть не выскочило, проклятое! Когда на Броньку глаза поднял, то ее глаза, полные слез, ему всю душу перевернули.

— Ты чего? — шепотом.

— Знаешь, Алешка, а мне никто вот так руку не целовал.

— Я еще могу! — уверил Грач растерянно.

— Сядь сюда.

Грач свой стул мгновенно к ее стулу подвинул. Бронька слезами умывается, и не поймешь — то ли сместся, то ли жалобное что-то выговаривает, словно защиты просит.

Шепчет Грачу на ухо, шепчет. Локоть его отпихнула, под руку пролезла, головой ему в подбородок уперлась, сидит там уютно. А как успокоилась немного, то с металлом в голосе сообщила:

— Сегодня перееду. А борщ без чеснока не варится. Понял? Надо его с салом истолочь и всыпать. Теперь я пойду. Ты посуду не мой, сиди здесь. Переживай событие, если сбежишь от невесты, то ненадолго. Ключ можешь не оставлять, я и так замок сломаю. Теперь ты от меня не запрешься.

— Чего ж я запираюсь буду? — удивился Грач.

— Мужики все такие... Тебе, Алешка, повезло, понял? Мужики все одинаковые, а я одна.

Встала Бронька быстро, чмокнула Грача куда-то за ухо, и ушла.

Грач недоуменно на дверь смотрит — была или показалось? Пошел к окну, долго бездумно стоял, смотрел, потом на кровать лег и... уснул.

А когда проснулся, первым делом на часы — вскочил в ужасе. Три часа проспал, а ее все нет! Вот в этот момент и звонок тренькнул...

Перешла Бронька к Грачу в одном платьишке и в босоножках.

Документы в руке держала. Грач ее за плечи взял, в губы поцеловал, потом ногой дверь в комнату пихнул, и жестом широким, мол, живи, владей, властвуй! Бронька босоножки скинула, по комнате зашлепала.

— А грязища-то, мама родная! Значит, так, Алешка, у меня в жизни ничего не было, понял? Я вещи ему все отнесла, мне ничего не надо. И брать от него ничего не буду. Деньги у меня есть, это еще от мамы, куплю. Вот, какая есть, принимай. Босая девочка, раздетая, шуб, колец, колье разных — нуль. Принимаешь?

Грач улыбается растерянно и счастливо, курит.

— Улыбочки мне твои «до лампочки». Я это платье сама сшила, и материал сама покупала! Босоножки чужие, а документы государство выдало. Если ты мне в женитьбе откажешь, наплевать. Главное, запомни, я есть, я вот она, а там и трава не расти. Где тряпка? Вставай, показывай, потом можешь сидеть барином и курить. Я пришла.

Ночью она близко-близко к его лицу свое бледное лицо придвинула, дух перевела, зрачки с сумасшедшинкой так близко оказались, что в один кружок слились, и горько зашептала:

— Где ты был? Где же ты шлялся столько лет, засуха моя ненаглядная? Где тебя черти носили, окаянного, сколько ждала.

— Ты чего, Бронь?

— Худущий, изрезанный, психованный, прямо ужас какой-то.

— Ну и брось!

И повелела Бронька:

— Чтоб мне был ребенок. И только сын.

Грач захохотал, ногами от восторга задрыгал в воздухе.

— Если ты, блатняжка несчастный, герой мой фансонный, если ты мне ребенка не состряпаешь — из дому выгоню.

— Другая подберет.

И захохал Грач не на шутку — это его Бронька, сначала за косую челку трепанула, потом укусила пребольно. Мало показалось, так за обе щеки уцепилась, и ну трепать из стороны в сторону:

— Помни, Грач проклятуций, что есть я твоя судьба отныне и на веки вечные. И не должен ты никаких мыслей окаянных в своей башке ветреной заводить.

Мишка Рокотов с матерью разругался. А получилось вот что.

Купила Максимовна на толкучке шляпку по случаю. Продавала злосчастную шляпку дебелая накрашенная дама в богатой, но местами потертой шубе.

Максимовна мимо раз пять туда-сюда прошла, краем глаза разглядывая хитро переплетенную, блестящую «чуду», из которой торчало и качалось на ветру длинное перо неизвестной птицы. Очень Максимовне хотелось невестке что-нибудь такое подарить, от чего дворовые бабы, по ее мнению, должны были в обморок упасть.

Особенно перо фиолетовое потрясло, но Максимовна виду не показала, скучающе и безразлично шляпку оглядела. Баба в шубе на нее посмотрела и отвернулась, как видно, решила, что эта плотная, краснолицая тетка не может быть покупателем ее редкости.

Максимовна шляпку повертела, с умным видом золотую наклейку «почитала», про себя чертыхаясь, что на не русском пишут. Спросила сколько стоит. Шуба такое загнула, что Максимовна в столбняке, замерла. Плюнув, пошла к салу, прицениваться, но заморское чудо все стояло перед глазами, особенно перо фиолетовое. И что за птица такая его обронила? Такое и в сказках не бывает.

Максимовна кошелек достала, грозно по сторонам посмотрела, пересчитала деньги — господи, только на перо, а про сало забудь. И вернулась, купила не торгуясь. Домой шла, под собой ног от радости не чуяла.

Мишка из туалета с прочитанной газетой вышел, дверь в комнату открыл, и замер. Стоит его жена посреди комнаты в новом плаще, в ботинках, а на голове... Мишка медленно, с опаской подошел, рассматривает. Фаечка хотела подмигнуть ему, но не успела.

— Это чего? — Мишка в фиолетовое перо пальцем ткнул. — Это чего, говорю? Его носить, что ли, будешь?

— Миш, — Фаечка Максимовне улыбается вымученно, — так праздники будут, по будням такое не наденешь. На демонстрацию или...

— Я те дам на демонстрацию! — заорал Мишка. — Совсем ополоумели, Мамка? Ты купила? Я с ней из дому не выйду!

— Господи, ну не дурак ли? — всплеснула руками Максимовна. — Это ж какаду!

— Кто? — изумился Мишка. — Какаду?

— Птица, паралич тебя изломай! Попугай такой, чтоб ты понимал, деревенщина! Смотри, ирод, гляделки разуй, как она ей идет-то, красовунечка сплошная... Не лапай ручищами, перо сломаешь! В таких какадах генеральши ходят. И стоит-то сколько, страсть!

Тут она цену назвала. И Фаечка с Мишкой в «столбняке» постояли.

— Ну, дела! Мамка, ты б еще одно перо прикупила, мы б его на зад приспособили. Снимай! Какаду эту снимай, матери отдай, пусть с метлой во дворе красуется. Из дому ты не выйдешь, а выйдешь — развожусь.

— Чего? — это Максимовна руки в бока уперла. — Я разведусь, дьявол, пошумлю на жену-то! Много воли взял, кудахчем, а он бароном, сидеть будет? Файка, мы нынче в этой какаде в кино идем, другого найдем, а он пусть дома! Кто тебе, черту конопатому, страшному, велел на жену шуметь? Деньги плочены, все, будем в ней в гости ходить, генерала найдем, а этого взашей выгоним.

— Мамка, ну чего ты мелешь-то? — Мишка растерянно.

— Погляди, ирод, статуэтка, где еще такую девчонку сыщешь? Мы к этой какаде шубу справим и ботиночки. Я еще участок взяла, проживем.

— Вот дает, мать! — усмехнулся Мишка, когда Максимовна вышла.

— Миш! — Фаечка к нему прижалась. — Тошнит меня, и ничего нет, второй месяц...

— Чего не сказала-то? Фай, ты эту, какаду спрячь подальше, ну ее, срамота.

— Может, Броньке отдать? — Фаечка вздохнула. — Ее Алешка из дома выгонит.

— Тяжести не таскай, ага?

— Мать и так ничего не дает делать.

— А она знает?

— Первая и заметила.

— Ну, конспираторы. — Мишка покрутил головой. — Черт с вами, носи какаду, но не дальше подъезда.

Мишка у пожарной лестницы стоит, курит. Дома курить ему запретили, оно лучше, и подышать, и вечер посмотреть можно. Не холодно еще.

Маленький, юркий к подъезду сунулся. Смотрит Мишка, вроде хромой, а шустро идет, в руке сумка, зашел в подъезд, тихо дверь прикрыл.

Стоит Мишка в углублении — нише, за пожарной лестницей. Самое его любимое место, не хочешь стоять, сесть можно, для этого и ящик притащил сюда. Выкурил Мишка папиросу, хотел выходить, смотрит, а из подъезда Вадим Петрович идет, с ним этот шустрый, но без сумки.

Мишка остановился, ну его, сердечника-то! Зануда, может про свои болячки час гудеть, не остановишь. В углубление отступил, а они вдоль дома, мимо пожарной лестницы, где Мишка затаился, идут. Разговаривают.

— Не нуди, Филя, не нуди! Твое дело маленькое. Документы справные, так что все в порядке будет. Ты, главное, хромай сильнее, не убудет, инвалид домой идет.

— Война уж полгода, как нет ее, — буркнул Филя.

— Ты мне камешки принеси, какие оставил у тебя.

— Нет, Петрович, я принесу, а ты и того... Смоешься с камнями-то! Их не на сотни тысяч, их на больше будет, так что, Петрович, вместе уходить будем. А камни при мне, они от тебя никуда не денутся. На границе получишь.

Тут у Мишки челюсть отвисла, сердечник так хромого об стенку стукнул, что у того фуражка упала. Прижал его, как раз, не доходя двух шагов до лестницы, и слова сквозь зубы выговаривает:

— Ты, гнида, меня не тревожь, за своей хромой душой следи, чтобы не выскочила! А камни мне завтра принесешь, в это же время. Ночью уйдем, и торга у нас с тобой не будет, понял? Это моя доля, и дал я ее тебе, потому что так надо было. У меня Танька везде роется, ей про это знать ни к чему. Золото — плевать, а про камни ей лишнее. Чтобы все сорок пять капелек на месте были. Иначе умрешь, Филя, нехорошо умрешь.

— Отпусти горло! — хромой хрипит.

— Продуктами мою попадю затаришь, ей голодать ни к чему. Моим горбом, моим умом жили, твари, так что не рядись со мной, тля!

— Хватит, Петрович...

— То-то. Ну, пошли, смотри, попадье ни звука, что уходим, просто на ночь по делу и все. Плохое чую, меня шох никогда не подводил.

Прошли они мимо притаившегося Мишки, и за угол свернули. Он озадаченно шею потер, на освещенные окна дома посмотрел, и на рысях к Грачу, за рукав рубашки его на лестницу вытянул.

Удивленная Бронька, было, сунулась к ним, так Мишка на нее цыкнул, она и убралась, ругаясь втихомолку, какие могут быть дела, на ночь глядя?

— Ошалел?

Грач рукав высвободил, хмурится, растрепанного Мишку оглядывает.

— Этот, сердечник-то, с хромым бежать собрались, про границу трепались! — Мишка дух перевел. — И никакой он не сердечник, хромого об стенку шваркнул, я думал, пришибет на месте. Еще про золото и камни разговаривали...

— погоди, можешь не тарыхтеть? Давай по порядку.

Мишка обстоятельно, не торопясь, рассказал про разговор, невольным свидетелем которого стал, стоя за пожарной лестницей. Грач слушал, остро всматриваясь в Мишку, прикуривал вторую папиросу.

Из двери уже трижды выглядывала Бронька, недовольная «секретами», звала зайти, но мужики от нее отмахивались.

— Заявить надо бы, а? — Мишка вопросительно смотрит.

Грач долго думал, потом покачал головой.

— Брать их надо, завтра, как хромой придет, пропустить его в подъезд, потом на выходе брать обоих.

— Стволы у них, голову даю на отсечение, Алешка, мы с голыми руками!

— Перестань, — поморщился Грач. — Хромой да дохлый, кого бояться? В милицию сообщим, так неизвестно, чего они придумают. Или вслугнут. А эти, по всему

видать, крупные караси! Ты хромого придержишь, я с сердечником разберусь, у меня к нему давно губа не равнодушна. Давай, Мишка, спать, с утра подробнее прикинем. Мне на работу завтра не идти, к тебе пораньше загляну, поговорим. До завтра они никуда не денутся.

Двое из подъезда тихо вышли, Грач головой покрутил — ну, конспираторы! От стены дома отошел немного, вздохнул и на пути у этих двоих оказался.

— Кто?

Вадим Петрович резко назад отпрянул, пригнулся, но, узнав Грача, спохватился, выпрямился. Хромой недвижим остался, но Грач очень ясно с его стороны щелчок услышал. Сзади Мишкина фигура выросла.

— Здорово, полуночники! — Грач улыбается. — Ты не так хил, браток, а?

Вадим Петрович на Грача глаза прищурил, потом оглянулся неторопливо. Хромой в тень дома перешагнул, со спины у Грача оказался, тот его угрюмый взгляд кожей чувствует.

— Куда, ребята, намылились, с мешком, с чемоданом... Мы вас минут тридцать дождемся. Так чего ты, Вадик, про камешки и золото тут болтал, шутил, может?

Грач говорит, сам дыхание хромого чутко слушает, ловит его и правую ногу расслабляет. Свой солдатский маневр опаленным войной нутром намертво впитал. На Мишку мельком глянул — молодец, как раз на два шага от хромого оказался. И сердечник рядышком... Эх, хоть бы пугач какой, эти дьяволы не один ствол в карманах припасли. Ну, солдатский Бог вывезет.

— Про что ты, Леша? — Крючков ласково. — На рыбалку мы. «Камешки», говорит...

Вадим Петрович засмеялся, руками развел.

— Ты, гад, руками не маши! — Мишка не выдержал. — Я вот тут стоял, слышал, как ты про золото и продукты шипел! В двух шагах от меня...

Вадим Петрович задумчиво посмотрел на углубление за пожарной лестницей, на Мишку, потер ладонью подбородок.

— Подслушивать нехорошо, значит, там стоял? Это меняет дело, мужики, в корне меняет. Ну-ну...

— Я тебе понукаю!

Мишка шагнул вперед, но Грач его жестом остановил.

— Напарника ты себе горячего взял, Леша. Большой у вас ко мне интерес появился. Просто так не разойдемся, я так понимаю, товарищ Герой Советского Союза?

Грач ловил малейшее движение Вадима Петровича, ощущая то странное состояние веселости, что приходило в мгновения настоящей опасности.

— Чего нам расходиться-то? Мишка рассказал, как ты этого об стену стучал, я думал в живых тебя не застать, а ты крепкий. Ну-ка, из-за спины выйди, у меня нервы по лагерям расшатаны, свободно могу ноги тебе из спины выдернуть! — рявкнул Грач на хромого.

Филя, руки в карманы, исподлобья смотрит, у ног чемодан стоит. Крючков ухмыляется.

— Грач, если наградные и зарплаты сложить, половины не выйдет, сколько я дать могу. Так ведь не возьмешь?

— Не возьму, — вздохнул Грач. — В милицию пойдем, если пустяк, извинюсь. Только чую, не пустяк все это.

— Правильно чуешь, — Вадим Петрович лямку мешка с плеча сдернул.

— Ну, пошли?

— Нет, Алешка, не пойду я, — Вадим Петрович скорбно, — нельзя мне идти.

— Стрелять будете? — Чувствует Грач знакомый зуд в ладонях.

— Стрелять что, попасть бы. Мне всегда, Алешка, трудно было в жизни не опоздать! И везде опаздывал, везде, что ни возьми.

Только зарождалось движение руки у хромого, только начинал он разворачивать плечо, чтобы выбросить вперед заготовленное оружие, как заработала «на прорыв»

отлаженная нервная система бывшего подрывника и разведчика Алешки Грача.

Точно и ясно уловил он миг зарождающейся опасности.

Ударил сапогом, согнулся пополам хромой, застонал от боли, рухнул ничком. Грач резко развернулся и покатился на землю, сбитый разлетевшимся Мишкой, увернулся от него Вадим Петрович.

Вскочил, а хромой пистолет поднимает. Упал Грач на одно колено, другой ногой, с разворотом, по руке, и, не давая опомниться, навалился, руку за спину рванул, так что завизжал хромой. Только тогда поднял голову и увидел — мелькнула за угол почным нетопырем фигура сердечника.

— Я его! — Мишка следом побежал, пиджак на ходу скидывает.

Грач пистолет подобрал, на стонущего хромого посмотрел. Видно, сильно он ему руку завернул, держится за плечо, стонет жалобно.

Со стороны сквера гулкий выстрел хлестанул, рванулся Грач, на хромого оглянулся и остановился, со злобой:

— Вставай, гнида тыловая, нечего корчить рожи, быстро!

Причитая, распрямылся хромой, со страхом смертным на Алешку глазами посверкивает. А Грач к нему, по карманам руками — хлоп, нож из бокового кармана вытащил. Хороший нож, рукоять из самолетного «стекла» прозрачного.

— Вооружился, тварь. Вперед! Руки за спину, побежишь, как собаку из твоего же ствола грохну! И кости переломаяю, чтоб неповадно было ножиками баловаться.

Повел его сквером к мосту, оглядывается, не видать ли Мишки? За сквером тупик, в заборе дыра, через нее к мосту кратчайший путь, а за мостом милиция.

У моста хромой дернулся, но Грач его левой рукой за шею придержал, правой, где пистолет зажат, так рукоятью под ребро саданул, что заскулил хромой в голос, глянул на Грача и смолк, со страху на здоровую ногу припадать начал.

— Товарищ Герой Советского Союза! — дежурный лейтенант от волнения заикается. — Мы этого в КПЗ, я на Петровку позвонил, оттуда едут. Будут указания?

— Какие указания, — отмахнулся Грач, — Мишка там где-то, мне бы сердечника, вырубить, получилось наоборот. Ну, Мишка не оплошает, думаю.

Милиционер с сомнением качал головой, стал наливать в кружки чай. Ту кружку, которая больше, поставил перед Грачом.

— Чайку, погрейтесь.

Мишка в это время полз по заваленному мусором двору фабрики мягкой игрушки, куда завела его ночная погоня. Полз, зажимая горячую рану на груди, как раз посередине. Отплевывался кровянистыми пузырями, хрипел и кашлял...

— Кто, а, чего? Стрелять буду!

Фигура в чудном плаще коробом перед ним выросла, в руках не то палка, не то ружье. Ветхий дед с опаской наклонился, трех сдвинул, прислушивается, а Мишка хочет громко говорить, вместо этого хрип получается.

— Ты чего ползешь, пьяный? Кто шумел, стрелял-то, кто?

Мишка силы собрал, на локоть приподнялся.

— Милицию... Давай, дед, тут он, тут!

Приговаривая и причитая, дед утрусил в темноту, повторять не понадобилось.

Мишка лег на левый бок, прижимая ладонь к ране, чувствуя, как вместе с кровью, покидают его последние силы.

Спасли Грач с Мишкой жизнь хромому. Вышел из дома Вадим Петрович с пустым мешком... И никуда он не собирался в эту ночь бежать, а проводил бы Филю до Хапиловского спуска, и нож ему под лопатку. Пояс с бриллиантами снять — это дело пяти минут.

Но не так все получилось, пояс на хромом остался.

К подъезду дома он с пистолетом в руке выскочил. Рыскнул по сторонам глазами: «Так... Не успели ментам прозвонить, живем, это хорошо, что не успели. Как

успеть, минут десять всего прошло-то! Может, в квартире ждут? Нет, время есть. Мало, но есть!».

Прыжками по лестнице, кнопку звонка утопил трижды, как условлено. Открывшую Татьяну отпихнул и в комнату. Смотрит попадая, как он деньги в вещевой мешок пихает, ничего не поймет.

— Ты куда?

Вадим Петрович из-под шкафа коробку вытянул, на стол опрокинул, руки расставил — желтые монетки так и покатались. Он их в кучку сгрэб, в носовой платок — не помещаются, другой взял со стула, завернул, и тяжелые свертыши в карманы.

«Время, господи, время! Ладно, перед смертью не надышишься! И уходить с музыкой буду, если что...» — пистолет в боковой карман, другой за ремень под пиджак. Три кругляша — гранаты...

— Вадька, а мне куда?

Татьяна горой на кровати сидит. Крючков летучей мышью по комнате мечется, за ним ночные тени шарахаются. Кое-что из харчей быстро в мешок покидал, завязывает.

— Ничего, Татуська, найду тебя при случае.

— Все врешь, Вадька, на вовсе уходишь, большие не свидимся.

— Только без скулежу, — Вадим Петрович второй свитер одевает, — вас по свету пруд-пруди, нахлебался, хватит!

— Я тебе шкатулку от отца Таисия отдам, — Татьяна в пол смотрит.

— Вон как? — Крючков замер, потом у виска пальцем покрутил. — Прорезалась, тумба правоверная? Сколько клянчил — нет, не дам, а теперь мне не надо, поняла? На мой век хватит, таких дур, как ты, воз найду.

— Не найдешь, — Татьяна глаза холодные подняла. — У тебя, Вадька, сердце справа.

Вадим Петрович к столу присел, обойму из пистолета выщелкнул, патроны проверяет. Обрато вставил, из кармана документы достал, смотрит бегло, торопится.

— Ладно. Прощай, Вадька, подлый кот и вор. Пусть земля тебя из чрева своего исторгнет, осиновым колом в твою сердечную неправильность вопьется.

Татьяна медленно слова выговаривает. Вадим Петрович не слушает — последнюю бумажку в бумажник укладывает.

— Вадька, давай навечно поцелуемся?

— Напоследок, что ли?

Вадим Петрович усмехнулся, со стула привстал, Татьяну в губы чмокнул, по плечу похлопал.

— На дорожку посидим.

Попадья губы утерла рукой громадной, к Вадиму Петровичу со спины подкралась...

Умирал он медленно, страшные Татьянины руки на шею никак плотно сомкнуться не могли, пальцы менали... Но сомкнулись.

В последний миг перед ним котенок избитый возник, потом лицо сына Туманкова мелькнуло и пропало, и опять котенок. Шипит, спину дугой выгнул, зеленые глаза в цель сошлись. Долго угасающее сознание эти два зеленых фонарика из темноты вылавливало, мигнули они в последний раз, и пропали.

Татьяна тело на кровать перенесла, руки крестом сложила, простыней укрыла.

Из мешка деньги вытряхнув, на столе горкой собрала. Из кладовой гору меха дорогого, отрезы и картины старые притащила, все это на столе и стульях уместила. Вспомнила про золото в карманах у Крючкова, его достала, к столу не пошла, а небрежно из платков на пол вытряхнула — звонко кругляшки покатались.

Грохот тишину взорвал — упала входная дверь вышибленная, трое с пистолетами в комнату влетели! Татьяна не шевелилась.

Вошедшие удивились, слишком все чудно — баба слоноподобная, труп на постели, золото на полу рассыпанное... Пригласили понятых, те, заикаясь, опознали Крючкова и его сожительницу. Таращили глаза на ценности невиданные, переглядывались.

Попробовали Татьяне вопросы задавать — ничего не вышло. Смотрит пристально, молчит и на все головой кивает, мол, так, люди добрые, что скажете — все так! В машине голосить стала, всю свою любовь животную, всю горечь-скорбь по «Вадьке убиенному» поведала.

Молчали оперативники, придавленные могучей глыбой невиданного чувства.

Один, правда, попробовал объяснить ей, мол, вор-убийца-грабитель был Крючков ее, но другой в бок толкнул, он замолчал.

В камере Татьяна пять часов из угла в угол проходила.

Села на табуретку привинченную, стала тихо и жарко сама с собой разговаривать. То попа зовет, то Вадьку. Приглашенный врач руками развел, велел везти в больницу.

К вечеру ей совсем плохо стало, температура за сорок. Безумным взором палату обвела и глубоким басом сообщила:

— Нет шкатулки. Вадька, отца Таисия не тронь, он добрый, и не ревнуй.

Выдохнула воздух из груди необъятной, за спинку кровати, прутья железные взялась и умерла.

Дежурный санитар и медсестра долго ее окоченевшие пальцы разжать не могли.

В следственной камере выл хромой Филя, стоял на четвереньках, дрожал всем телом и выл на дверь. И не в «болезнь» играл, а просто ноги его со страху не держали.

Мотал головой лохматой, слюни пускал и выл.

Мерещилось Филе страшное. Пробовал руку грызть, но боль отрезвила. Замер, и до самого суда, два месяца молча в камере сидел, на стену смотрел сощуренными глазами, хрустел суставами.

Дал судья последнее слово. Встал Филя, грязным пальцем по губам провел:

— К расстрелу меня... Короче, от «вышки» не уйти, но я не к тому. Спасибо, что расстреляете, если бы срок дали, я б удавился.

И заорал людям в зале, потрясенным его смертной веселостью.

— Сурки голопузые, коровки божьи! Я скоро червяком накроюсь, а вы-то, чего? И вы там будете, что, нет? С ума сошел, думаете, да? Сдохнете, сдохнете, как по нотам все будет. И ты сдохнешь.

В судью пальцем ткнул, засмеялся и сел.

После приговора, когда уводили, зал со страхом ему вслед глядел...

Он оказался в колодеце.

И колодец был странный — вверху сужался, оттуда бил ослепляющий свет, а книзу расширялся, стены темнели мрачно и страшно. Внизу стояла такая густая темнота, что кружилась голова, и сердце дрожало мелко и быстро...

Мишка бесплотно парил между светом и мраком, не зная, куда кинуть неощутимое тело. Потом наступило «прозрение», он увидел себя сверху — голое, неподвижное тело лежало на столе, глаза открыты. Он раздвоился — одно зрение показывало, что над ним потолок, вокруг тени в халатах, другое зрение видело белые шапочки сверху.

Потом появилась еще тень. Мишка почувствовал к ней доверие и чувство сопричастности. Странная истома овладела Мишкой, он потянулся к этой огромной тени, от нее исходило спасение.

Приятный низкий голос произнес: «Напрямую... большая кровопотеря, адреналин в сердце...». В Мишкино сердце ударила пронизывающая боль, но он обрадовался ей, потому что эта боль была ему во благо.

Невыразимо прекрасное лицо вынырнуло из мрака, звало его нежно и страстно — от этого Мишке стало жутко.

Свет бил в зрачки, он стал ощущать, как они суживаются, и свет начинает растекаться по его безвольному телу, наполняя теплотой и радостью. И Мишка поплыл к нему, уходя все дальше и дальше от этого прекрасного, но страшного лица.

«... Выкарабкался... силен мужик... Ну и ну...», — произнес голос.

Мишка злорадно улыбнулся.

Очнулся ночью, повел глазами. Горел ночник над дверью, у кровати на стуле дремала мать, свесив голову в косынке, уронив на колени руки.

Мишка улыбнулся, попытался облизать губы, но только поводил сухим языком по ним, и негромко прищелкнул. Но этого оказалось достаточно. Максимовна тут же подняла голову, всмотрелась в его лицо, испуганно расширив глаза:

— Чего ты? Батюшки, пришел в себя-то?

— Попить, мамка...

— Молчи, молчи! — заплакала Максимовна. — погоди, Бронька клюквы дала, тут опа, на-ка, сын, на-ка! Только не шевелись! Сама поднесу.

Она попоила его из поильника с отбитым носиком, обтерла испарину со лба своей горячей, сухой рукой.

— Чего у меня? — Мишка трудно шевелил языком.

— Стрельнул тебя враг, чего! Чуток левее и все, какую-то «аорту» тебе тронул, чуть не перебил, коснулся только. Что ж ты с нами делаешь, Фаечка почернела, господи, смотреть страшно. Ох, Минька, был ты непутя-беспутная, так и остался. Кой черт тебя за ним погнало-то? Из милиции ругал вас с Аленкой, почему их не вызвали?

— Поймали?

— Поймали, — Максимовна, отвернувшись, стала в тумбочке копошиться.

— Кого поймали?

— Что орешь-то? — перепугалась Максимовна. — Тебе нельзя говорить, врачи сказывали! Молчи, сама скажу, остынь... Нет его, врага-то, баба придушила, что жила с ним, страшное дело!

— Нормально... Спать хочу.

— Поспи, а то сколь крови вытекло! Спасибо, кочегар знакомый тут оказался, свою кровь дал. Спи.

Мишка повернул голову к стене и уснул. Максимовна все шептала про себя, жаловалась кому-то о своем, сокровенном.

И плакала.

Митенька-почтальон на углу дома стоит, сумку на землю бросил, навзрыд плачет-заливается. Пенкин увидел, подошел.

— Побил кто?

— Бумазка Нефедову опять! — Митеньку трясет все-го. — Молоток будет кидать!

Пенкин историю, как Нефедов в почтальона молоток кинул за похоронку, наизусть знает. Вздохнул, по плечу убогого погладил, тот из сумки письмо тянет, протягивает, смотри — «Беда!».

— На, ты отнеси, он с тобой не будет длаться, ты вон какой большой.

— погоди! — Пенкин обратный адрес смотрит. — Тут подпись «Нефедова Полина!». Митька, беги, он тебе за это письмо мешок пряников во все карманы рассует!

— Лупить меня будет, у меня головка слабая.

— Уж это, куда деваться, а письмо неси, тут и адрес обратный, гляди. Он этого письма, знаешь, сколько ждет? Неси, хуже не будет.

Нефедов почтальона увидел, странно побледнел, за косяк дверной руками ухватился, стоит — ни жив, ни мертв.

— Цево? Холосое письмо, мне дядя Пенкин сказал. Длаться будес, да? Ты нахой, я тебе не лублю.

Митенька письмо на порог кинул, подальше на лестницу отбежал, прижался к стене, сумку перед собой держит, заслоняется. Нефедов нагнулся, письмо поднял, сослепу его и так, и эдак вертел, очки с затылка пере-двинул, распечатал и...

Захлебнулся счастливыми слезами, заиграл морщинами глубокими, Митеньку рукой манит:

— Иди, золотой мой, иди сюда-то, от дочки, от Полюшки письмо, из госпиталя, с Урала! Жива она, Митюшка, почтальон ты мой золотой. Женя, Евгения Семеновна, иди, старая, пляши, от Полюшки письмо!

Митенька за ним робко в дверь прошел, стоит в коридоре.

— Мать, чайку ему подлей.

Нефедов лаской плавится, морщинами играет, слезу нечаянную с глаз смаргивает.

— Конфету бери, ешь. Довоенные, Полюшке берег, пяток и осталось. Ешь, милый, с хлебцем, тебе сальца бы, отощал.

— Ключков салу ел, и колбаску, а Мите не дал. Он пахой, мамка говорит. Его тетя Таня пидусыла. Он на-совсем умел?

— Умер, Митюшка, Крючков. Оттуда не ворочаются. Ну и тварь был, и банк, сказывали, он грабил. Мишке в грудь стрельнул... Натворил дел, сердечник! Пей, что это ты, чего замер, рот разинул?

— Я бумажку одну закопал, плинесу, ты погоди! Ты мне исо конфету дас, да?

Выскочил почтальон из-за стола, минут через десять вернулся, в руке жестянка, испачканная землей. Отогнул крышку ржавую, камешки на стол посыпались, из-под них истлевшую бумагу тянет...

Нефедов с трудом, но разобрал бумагу. Задумчиво на плачущую жену смотрит:

— Убогий, а как выдумал! Закопал, значит, а я, Митька, отдай ты ее мне вовремя, вполне мог копыта откинуть.

— У тебя конфетка есть?

— Найдем, Женя, принеси тот свитер, что в прошлом году вязала, молчи, ему память будет. За письма до самой смерти по кульку пряников в неделю должен, не жалея, старая, в гроб в нем меня не положишь.

Одели на Митеньку красивый серый свитер. Немного великоват, но это не мал, Нефедов довольный остался, обошел вокруг Митьки несколько раз, где поддернул, где поправил. Почтальон сразу целоваться полез, три раза старику щеку обмусолил.

— Молотком не будес? Бить не будес? И свител не отнимес?

— Носи, золотко, носи. А молотки кончились.

— Я тогда испузался, меня мамка побила сильно. Я за денюски лаботаю, да? И холосые бумазки, и пахие совсем... Всякие.

— «Лаботай», милый, «лаботай». Спасибо тебе.

Проводили Митеньку Нефедовы, сели дорогое письмо читать. С начала и с конца, и отрывками выхватывали, пока наизусть не выучили.

Решено было, что поедет мать на Урал к дочери, в госпиталь, а за это время Нефедов будет потихоньку квартиру в порядок приводить.

Лежал Мишка в палате, улыбался, заклеенную марлей грудь ощупывал. Не заметил, как задремал, а там и

Фаечка пришла. Веселая, и такая красивая, что Мишка чуть не прослезился, на нее глядя. Вот до чего человека болезнь довести может, слезы близко-близко.

Фаечка его с ложки супом кормила, потом убиралась. Крошки с постели стряхнула, на тумбочке прибралась. Мишка за ней глазами водит, до того ему хорошо, что слов нет. Правда, боль в груди, тупая и ноющая, но Мишка притерпелся, внимания не обращает. Договорились с Фаечкой, что в эту ночь никто возле него дежурить не будет.

Ночью спал хорошо. Проснулся часов в пять утра, долго лежал, слушал больничную тишину, настоящую на невнятных столах, скрипах пружин кроватей, шарканье тапочек дежурных врачей и сестер. Пить захотел, протянул руку за поильником...

Изогнулась палата, поехали ее углы в разные стороны, свело их в круг непонятный.

Падали бесшумно стены, сверкал тусклый ночник в хороводе кругов туманных и погибал мир в жутком беззвучном разломе!

Приподнялся Мишка на локтях, заскреб пальцами простынь, выгнулся и умер.

Тихо лежал до утреннего прихода сестры с градусником. Тонкая струйка крови изо рта высохнуть успела.

Не выдержала задетая пулей аорта, выплеснула кровь, могучим сердцем гонимую, прямо в легкое. Лежал Мишка белый, как бумага, с открытыми глазами, что двумя окнами удивленно в мир распахнулись, постигая его жестокость, его краски, его доброту и веру...

Словно ушел некто из квартиры навсегда, а перед уходом окна раскрыл, чтобы выдул ледяной ветер нажитое тепло. Для чего? Гонял сквозняк обрывки обоев, трепал забытую занавеску холодным ветром одиночества.

Увезли Мишку в маленький домик с кафелем, лежал один, в ту ночь больше никого в морг не приносили, и было нелепо видеть его большое и неподвижное тело среди шкафов, тазиков и немудреного, сурового инвентаря скорбного домика.

Ноябрь расплющил нос о стекло, мы встретились с ним взглядами. У него были больные глаза бездомной собаки, заискивающие и тоскливые.

Учитель удивленно поднял на меня голову, потом перевернул лист, осмотрел его белую и чистую обратную сторону, прищурил потемневшие глаза.

— Ты зачем его убил дважды?

— Так надо.

— Мишку принесли домой мертвого! Во дворе фабрики, его убил Крючков, а ты заставил его доползти... Дал нам надежду с операцией, зачем оставил ему эти дни в больнице? Ты жесток, мальчик, это слишком, даже для правды. Читая про палату, я радовался, Мишка жив, значит, ты понял главное, почему такие люди, как он, догоняют преступников... И потом с почтальоном, почему он остался жив? Это он вышел в тот вечер на улицу и помешал ребятам схватить Крючкова и Филю? В почтальона выстрелил Крючков, в первого выстрелил! Несправедливо, оставляешь на земле калеку, и кладешь в нее здорового, сильного парня.

— Они живут вне меня, сами распоряжаются своими судьбами, сами выбирают — оставаться в повествовании или нет.

Учитель повернулся к окну, на стене появился профиль — замученная старостью птица сидела неподвижно и скорбно, горбатый нос почти касался подбородка, плечикрылья поднимались высоко, прикрыв худую шею...

— Не пиши про Мишкины похороны, не надо. Это было так нелепо, страшно и больно, что пересказа не получится, уверен. Сползти на мелодраму ничего не стоит, не пиши.

Из-за угла живот страшный выплывал, потом вся Бронька показывалась.

Само величие. Волосы тяжелым пучком на затылке собраны, лицо белое, спокойное, а глаза! Надо видеть, как смотрела она на окружающий мир, исполненная материнского торжества и удивления, мол, что вы там копошитесь? Суетитесь, бедные...

Что ваши заботы в сравнении с моими завыками? Видите, какая я? То ли еще будет, попробуйте сказать, что я некрасивая!

Разговаривает медленно, длинными ресницами хлоп-хлоп, полные губы в усмешке изогнуты, ноздрями вздра-

гивает — запахи одолели. Особенно одеколоны терпеть не могла.

Грача извели разговорами, не иначе, как Бронька тройню замыслила! Он сначала отпучивался, потом притих, с опаской стал на огромный живот поглядывать. Но и с этим возможным вариантом смирился — тройня? Давай, и мы не лыком шиты.

Ночью тихо жене на живот руку положит, шевеления ловит, улыбается. Бронька делает вид, что спит, сама от удовольствия краснеет.

— Алешка, где ты?

Бронька на машинке что-то маленькое строчит, от усердия язык высунула. Грач на кухне с утюгом возится, чертыхается, никак ручку привинтить не может.

— Ну?

— Алешка, совсем каблуки оторви на туфлях, а то все ноги поломала.

— Ладно.

Задумался Алешка, папиросу достал, только спичку к ней, а из комнаты:

— Марш на лестницу!

Усмехнулся, встал покорно, на лестницу пошел, ему вслед:

— Думаешь, не вижу? Шинель накинь, капляешь, новое пальто не тронь, нечего обтираться.

Стоит на лестнице, курит. У новых соседей внизу гулянка — шум, что-то грохает, голоса слышны.

«Ругаются?» — Грач лениво думает.

— Алешка! — в квартире Бронька вскрикнула.

Грач дверь саданул, одним прыжком в комнату, а Бронька белее бумаги, за живот держится, глаза безумные.

— Ща рожу!

Алешка руки растопырил, ничего не соображает, топчется бестолково.

— Беги за врачихой, ой, мамочки!

— Бронька, погоди рожать, я мигом! Сиди, слышишь, никуда отсюда, погоди!

Вслед запоздало:

— Шинель-то? Ой, мамочки...

Как до роддома они с врачом из седьмой квартиры Броньку довели, этого Алешка и через много лет вспом-

нить не мог. Сдал жену врачам, час вокруг здания круги описывал, пытался в окна заглянуть. Напротив роддома, на скамейке, еще два часа сидел, чуть не уснул, с досадой домой пошел, ничего не высмотрел.

А Броньку, как привели, посадили на стул, попросили подождать, мол, сейчас врач придет. Действительно, приходит врач, старичок розовый, улыбается...

— Рожая я, — Бронька ему.

— На здоровье, первые роды? Красивая, приятная мамаша, главное, не бойтесь. Вам поздновато немного, по возрасту, но это ничего, посидите, без нас не родите.

— Рожаяю!

Бронька ему вслед, но врач только улыбнулся приятно и пошел к двери.

Тут нянька заходит старая, Бронька ей:

— Рожу я, тетечка!

Нянька губы поджала.

— Врачу видней, а вас миллион, сказал, жди, значит, не рыпайся. Все по порядку будет, а так не родят, схваток нет.

И пошла, Бронька вслед удивленно посмотрела, но уже не до разговоров стало. Боль низ живота опоясала, не выдержала, со стула встала — еще хуже! Попробовала шаг сделать к кушетке, чуть не упала, так голова закружилась.

Села на корточки, в мозгу одно бьется: «Только бы не упасть! Ой, мамочки!». Крик рвался из горла, но Бронька зубы сжала, замычала глухо, руками под собой шупает.

Родила. Прямо в подставленные руки родила.

Боль такая, что Бронька задохнулась на пределе, чуть сердце не лопнуло, но сдержалась. Как почувствовала под собой мокрое и скользкое, осторожно на кафельный пол легла, приняла сыночка или дочку, не соображая от боли, первым делом стала ребятенка в полу юбки заворачивать. Он басом, басом, господи! Или она?

У Броньки круги разноцветные перед глазами, едва-едва вздохнула, тут врач входит. Ахнул старичок, закричал, тут все забежали, полная комната народу оказалась. Переполох, одним словом.

Когда все кончилось, врач пот со лба отер и руками развел:

— Не ожидал, ни по виду, ни по поведению.

— У меня там еще ребеночка нет? — Бронька устало спрашивает.

— На этот раз двойни не будет.

— А вы посмотрите, доктор, миленький!

Врач брови поднял, улыбнулся, повернулся уходить, но вдруг остановился:

— Дайте-ка, осмотрю, кто вас знает... Ну, слава богу. Везите в палату.

— А ребенка? — привстала Бронька, оглядывается.

— Принесут на кормление, — акушерка с неудовольствием оглядывает Броньку. — Лежи спокойно, хватит, наскакалась, весь роддом на ноги подняла. Это надо, на полу родила, господи!

— Не перепутают мальчишку-то?

— Лежи, кулема.

— Грач есть?

— А?

Грач отчего-то на Жорку Пенкина смотрит испуганно.

— Что стоишь, забирай сына.

— Забирайте, папаша, ребеночка! Осторожно, руки прямей держать надо, вот так. Сейчас мамаша выйдет. Господи, папаша, вниз головой кто несет, ну-ка, дайте сюда!

Старенькая нянька приняла сверток, перевернула, на руки Грачу положила. Грач сверток принял, и пошел... А про Броньку Алешка забыл, она ему вслед смотрит, губы кусает, того и гляди, расплчется. Алешка со свертком идет, ничего не видит, подмышкой цветы приготовленные.

— Грач, а я? — обиженно Бронька, а он не слышит, сына несет.

Потом облился, будто не четыре двести, а все сто килограмм вытягивает. Пенкин на костылях вымахал, ему негромко, но резко что-то сказал, тот на полном скаку, как конь — стоп! И к Броньке.

Всхлипнула с завываньем, от жалости к себе и любви к мужу, когда он ее между ухом и шеей поцеловал.

Всем домом «грачонка» обмывали.

Максимовна с Фаечкой маленького Мишку принесли, тот уже агукает, смеется, кулаки сжимает. Люба Букина с дочкой Наташкой, у той уже и волосы отрасли, первый бант завязали.

Пенкины пришли, Тося Жорку под столом пихала, чтоб не пил много, им с утра надо к врачу идти, вот-вот, рожать....

Бронька глаза приоткрыла, смотрит, а Грач на цыпочках к кровати крадется. Наклонился, шепчет что-то. Бронька вся внимание, голову приподняла, вслушивается.

— Спишь? Ну-ну... Качай здоровье. Володькою будешь. Эх ты, солнышка-подсолнушка! Человек, а?

Почесал Алешка голову лохматую, хмыкнул изумленно, выпрямился. Бронька украдкой глаза-щеки утерла.

Грач под нее холодные ноги засунул, скоро засопел, а Бронька «вполглаза» спала. То большого, то маленького слушает.

Большой перевернулся на спину и захрапел, а маленький молчун оказался, первую ночь не похрахтел ни разу.

— Баба с возу долбанулась — подол завернулся, вот кобыла улыбнулась, и мужик проснулся! — Старик бровями шевелит, думает. — Шах, офицера тресну, только цар пойдет. Баба с возу...

— Дурацкая твоя песня! — Нефедов ему с досадой. — Не выпендривайся, раз бьешь, бей, нашелся «Капсабланка»...

— Капсабланка, — поправил Старик. — Пешку «за фук»? Это не шашки, мил-человек, зачем подставлять-то? Или жертвуешь?

Нефедов с досадой смешал шахматы. Некоторое время сидел молча, не глядя на Старика, потом повернулся:

— Черт паршивый, расставляй сначала, распелся...

— Может, фору дать, туру хочешь? И не надо... Вот кобыла улыбнулась, а мужик проснулся!

Нефедов плюнул со злости, полез за куревом.

— Чего поет, дуболом? Как это «кобыла улыбнулась», где видал?

— Очень даже улыбнулась, прямо душевно. Тебе, чтобы выиграть у меня, надо год в ситцевые тренироваться, понял?

— В «ситцевые»? — с подозрением переспросил Нефедов.

— Нарезать из ситцу фигурок и тренироваться в тряпочные. Вашу королеву мы — трясь, не зевай!

Нефедов посмотрел на доску, поднял багровое лицо и пошел к буфету, на ходу зорко поглядывая — не идет ли дочь или жена? Открыл дверцу, достал графин, обернулся к Туманкову и выразительно причмокнул, тот кивнул.

Содержимое графина уместилось в стакане. Выпили пополам, закусили вареным яйцом.

— Полине протез прислали? — спросил Туманков.

— Прислали, только никак не приспособится. Была левая, а то правая рука, самая деловая. Пойдем во двор?

— Тебе врачи запретили ходить, помрешь, а я чего?

— Раньше тебя не помру, понял? Чекушку там спворим...

— Ты отпил свое, глянь, синий весь.

— Мне куда, за девками бегать? И синий сойду.

Сидели на сквере, довольно щурились на солнце.

И была это их последняя весна.

В июне умер Старик Туманков, всего неделю попестовал родившегося Кольку Пенкина. Через месяц умер Нефедов, поднял угол шкафа, чтобы подложить фанерку под перекосившуюся дверцу, и упал, не приходя в сознание, умер.

Лежали оба на Преображенском кладбище, недалеко друг от друга. И оградки одинаковые были — Пенкин расстарался.

Если аллежкой пройти, то у забора, третья от мраморного ангела купца «третьей гильдии» Трефильева, могила Мишки Рокотова — пирамида со звездой, а у стариков кресты дубовые.

Бывший боцман Карасев три хромированные дощечки раздобыл, на них имена-фамилии исполнить заказал — Нефедову, Туманкову и Рокотову.

Знакомый Максимовны заказ хорошо выполнил, аккуратно. А Грач с Пенкиным привинтили дощечки на кресты и пирамидку.

Боцман Карасев Максимовну долго ждал. Как в деревню уехал, письма от него каждую неделю приходили. Она плакала, но куда от сорванца Миинки денешься? Фаечка учиться пошла, и есть-пить надо, одеваться, на стипендию не разгуляешься, так что, работай, бабка, пока силы есть!

Можно было бы продолжить рассказ, как истаявший от бессонных ночей Пенкин в Литературный институт прорывался, мучился с повестью... Как родила Тося Кольку, потом Аленку, и стало их в доме с ними семеро.

Какая лютая война разгорелась между Володькой Грачом и ребятами с Хапиловки, сколько было пролито крови и материнских слез. Как бегала «топиться» на Язузу Бронька, показалось ей сдуру, что Алешка Грач ходит к Дусе из молочного ларька.

Можно заглянуть к Букиным, где призрачно и ветхо доживали почти столетний век Димкины родители, а сам Димка яростно занимался живописью.

Много можно было бы поведать, только это будет другая книга. Другое время, где летают иные птицы, иные люди провожают их в дальние края.

Осень стучится в окна худыми пальцами. То ли милостыню просит, то ли напоминает, что пора в межконье вату затыкать, к холодам-ветрам готовиться.

Вот и улетели, курлыкая, далекие птицы моего детства.

Повернул Вожак гордую голову:

— Летим, малыш? В детстве трава шелковей, вода хрустальней! Обопрись крылами на воздух, держись за него, не подведет!

Долго следили глаза за стаей, а когда скрылась она в розовеющем небе, опустилась тишина, и замигали колючие, непостижимые звезды.



ЦВЕТЫ НА БОЛОТЕ

Повесть

Моим внукам с любовью

*«Стояли звери
около двери.
В них стреляли --
они умирали»*

А. и Б. Стругацкие

Мария, выдергивая из волос шпильки, прошлепала в сени. Черпала воду, гремела ковшиком о кадку, пила, поминая чертей от холода, вздыхала. Промерзший пол обжигал ступни, Мария переступала с ноги на ногу, тяжело вращала в проседающие, скрипящие половицы.

«Ровно лошадь, — думал Спирька, вслушиваясь, — дом ходуном! Ишь, всхрапывает!»

Желтым от табака ногтем дернул струну балалайки, болезненно сморщился от противного, долгого звука. С лавки мерцал зеленью зрачков кот Филимон, водил разорванным ухом, пристально глядел хозяину в глаза. На стон струны фыркнул, зевнул с подвыванием.

Спирька сидел прямо на полу возле печи, широко раскинув ноги в сапогах, смотрел, как мотает башкой Филимон, хмурился, гладил рукой в ссадинах и порезах румяный бок старенькой балалайки.

— Ложись спать, идол!

Мария, горестно подперев ладонью щеку, горой встала над мужем.

Ноги у нее два столба, литые, загорелые, а по ним пушок золотистый. Ступни большие, сорок первого размера. Мария со Спирькой одну обувку носят, вернее, она за ним старые ботинки дотаскивает.

Поэтому Спирька часто не может найти то кеды, то сапоги. Тогда начинает орать, носиться по избе и пищать табуретки. Обувь находит на жене, немедленно заставля-

ет ее разуться. Каждый раз, сравнивая свою ногу с ногой Марии — восхищенно свистит и хихикает.

Это единственная похожесть, что касается остального, то тут контраст поразительный, что во внешности, что в характере.

Мария росту гвардейского, про ее силу в деревне с малолетства легенды ходят. Спирька «метр с кепкой», правда, тоже силенкой не обижен, но против Марии, что пони против ломовой лошади.

Для Марии неясностей в этой жизни нет. Беды и радости встречает спокойно. По-настоящему ее волнует только работа, в которую, как говорит Спирька, «врубается, аж стерженеет». Деревенские сплетни и пересуды отлетают от её необъятной груди, как мухи от лобового стекла несущегося грузовика.

Спирька непоседлив. В спорах до иступления и нервной икоты доходит. Будучи неправым — спорит втроене яростно. У него все зыбко, неясно, любую мелочь подвергает сомнению. Самое ходовое слово у Спиридона «относительно».

У Марии глаза синие, с серой дымкой, веки тяжелые. У Спирьки карие, маленькие, так и стреляют по сторонам, редко на чем долго задерживаются.

Мариин волос тяжел, иссиня черными волнами падает.

У Спирьки соломенные вихры во все стороны торчат, от подушки колтун по неделе не расчесывает.

В первые месяцы после свадьбы Спирька часами в лопухах соседского огорода караулил — не идет ли кто к его жене. На тот случай здоровенный кол припасал. С годами немного успокоился, караулить перестал, но при малейшем намеке на повышенное внимание к Марии — хамил и размахивал руками.

Временами на него накатывает, три дня ходит, ни с кем не разговаривает, свистит, часто хватается за балабайку. Потом забирается на крышу старого отцовского дома и часами выглядывает оттуда происходящее.

Презрительно щурясь, плюет сверху на кур, пролетающих воробьев и дворового кобеля Гошу. Иногда, в особенно кризисные моменты, кидает в Гошу кусочками шифера. Кудлатый пес ловко увертывается и, так как не может достать хозяина на крыше, лает до хрипоты и злобного, визгливого кашля.

Мария, на это лихое время, спускает кобеля с цепи, а Спирьке ставит на крыльцо трехлитровую банку кислого молока. Спирька клешнятыми, в вечных порезах и ссадинах руками ковыряет кирпичи трубы, вздыхает, и презирает весь мир.

Сейчас на дворе лютый февраль, а на Спирьку накатило. Лезть на крышу скользко и холодно, поэтому он сидел битые два часа у печи на полу, дергал балалаечную струну, молчал.

Часа три назад он лихо шваркнул кота веником, обозвал пси «помоями» и, в довершение, опрокинул кастрюлю свежесваренного столярного клея. Полез с тряпкой подтирать с пола клей, неловко ухватился за скатерку стола и сверзил себе на голову сковородку с остатками макарон.

Вышедшая на грохот и спирькину ругань Мария, разглядела провизию в его волосах, пролитый клей, и зашлась густым, бочковым смехом. И Спирьку скрутило окончательно. Он долго орал, что «всех поубивает враз». Прооравшись, сел на пол с балалайкой.

— Идол ты мой, идол, — притворно горевала Мария, стоя над мужем. — Третий ночи, слышь? Выпей, что ли, непутя ты беспутная! Всю душу вымотал. Люди добрые сны смотрят, в подушку посапывают, а ты...

— Отзынь. — Спирька сурово оглядел жену с головы до ног, подумал некоторое время и добавил. — Навсегда отзынь.

— Я те отзыну, тресну вот раз! Ишь, Чингиз-хан нашелся.

Спирька рывком вскинул голову и глянул так, что Мария испуганно ойкнула и отошла к кровати. Взбила подушки, разделась, и нерешительно потянулась к вы-

ключателю, но натолкнулась на спирькин взгляд, отдернула руку. Стояла, виновато моргая.

— Можно, гаси, — сурово поднял бровь Спирька.

Щелкнул выключатель. Кровать жалобно взвизгнула пружинами, принимая могучее Мариино тело, потом в наступившей тишине пропела потревоженная балалайка. И опять все стихло.

В том, что на мужа накатывало, Мария винила себя. Три раза она беременела, и все три раза не могла доносить. Деревенские злыдни слетничали, что мол, до того здорова Мария Терехова — дитя из чрева исторгает! Но на эти разговоры Спирька плевал, а бабу из соседнего села чуть совсем не прибил, когда сунулась к нему с советом найти другую жену.

Прошлый год родилась девочка семимесячная, прожила пять дней, и ночью, так и не наплакавшись вдоволь, умерла. Спирька вычернел с горя, два дня беспробудно пил. Мария беззвучно плакала, слонялась по двору, но несколько раз перемывала одни и те же плоски-кастрюли.

На третий день, опухший и страпный Спирька вылез во двор, долго пялился на белый свет мутными глазами, вышил трехлитровую банку молока и подошел к Марии. Тонем, не допускающим возражения, заявил, что поедет в город выбирать ребенка из детдома.

Мария страшно побледнела, опустив голову, сцепляла и расцепляла пальцы рук, долго молчала. Потом вымученно улыбнулась и кивнула, про себя молясь, чтобы Бог дал свое дитя.

Месяц они обсуждали этот непростой вопрос. Спирька требовал пацана «чтоб хулиган и поцыганистей», Мария склонялась к девочке «беленькой, тихой и ла-а-сковой!». Сошлись на двоих. Весной было решено ехать в город выбирать «ребенков». Стали ждать весну.

Мария смотрела в потолок. Ни о чем она не думала, все думы были оставлены до весны. Она тихо погружалась в зыбкую дремоту, сулившую крепкий здоровый

сон. Дремота обволакивала ее необъятное тело теплом и приятной тяжестью.

У Спирьки онемела спина, давно болела поясница, но было любопытно вот так сидеть, ощущая вокруг пространство и темноту, наполненную невидимой жизнью.

Заскреб по лавке кот Филимон, точил свои царапки. Ровно и могуче дышала Мария, как видно, уснула. Треснули половицы, звук тягуче повис в воздухе, прокатываясь по телу ознобиной и мурашками.

Спирька встал. Глаза привыкли к темноте, он с интересом огляделся. С лавки прыгнул кот, тиранулся о штанину, Спирька взял его на руки. Филимон благодарно ткнулся под ухо, запел-заурчал на низкой ноте. Спирька довольно хмыкнул, погладил кота, пошел к кровати. Из-под ноги с грохотом вывернулась балалайка.

Пробурчала со сна потревоженная Мария, что-то опять про «идола»... Спирька только хотел пустить кота на пол, как он сильно оттолкнулся от хозяйской груди, с шипением перелетел на лавку. Удивленный Спирька взгляделся — Филимон сидел неподвижно, головой к окну.

Вдруг, показалось, что тонкий, с хрипотцой голос, произнес спирькино имя. Спирька оторопело прислушался, тряхнул головой, но все было тихо. Чертыхнулся, пошел к кровати, сел на угол, снял сапог, размотал портянку и кинул ее к печи на пол, стал стягивать другой сапог.

— Спиридон!

В темноте противным мявом взвыл кот, и тут же смолк. Спирьке стало жутко: «Вот, черт! Кажется всякая...». Рывком снял с головы свитер вместе с рубашкой, осталось стащить его с рук.

— Замерзну же! — на одной ноте.

Свитер и рубашка непостижимым образом оказались на нем. Неловко подвернувшаяся пуговица впилась в ребро, Спирька потер, поправил. Привстал с кровати, опять плюхнулся — взвизгнули пружины.

На возню прынула со сна Мария, нацупала его бедро, хотела что-то спросить, но Спирька резко повернул-

ся, запечатал ей ладонью рот, наклонился к уху, жарко выдохнул:

— Слушай, не греби руками, отзынь!

— Чего?

— Тсс...

Спирькина дрожь передалась Марии, она выпучила глаза, обшаривая темноту, задышала быстро и горячо.

— Ну же! Замерзну! Спиридо-о-о...

— Чего это? — скучным голосом спросила Мария и лягнула зубами.

Спирька кинул руку к выключателю, сослепу долго шарил, шелкнул. Свет больно резанул глаза. Оба озирались — никого! А через секунду Мария ткнула пальцем в кота Филимона.

Тот перебирал ногами, смотрел в окно, шерсть страшно дыбилась на выгнутой спине. Кот злобно шипел.

В окно раздался стук, словно кто прутиком трезвонил в морозное стекло, оно мелко вздрагивало. Спирька с Марией переглянулись.

— А поглядеть что ли? — встряхнулся Спирька.

Мария отчаянно замотала головой, губы у нее прыгали, Спирька сразу насупился, стал обуваться. Мария, чудно растопырив глаза, пыталась следить за мужем и окном одновременно.

— Зараза какая-нибудь. Башку отшибу!

— Спирь, не ходи.

Спирька молча снял с гвоздя полушубок, постоял, раздумывая, и достал молоток. Подкинул на руке, покосился на перепуганную жену, потом поглядел на Филимона, кот явно был «не в себе», продолжал шипеть и гнуть спину, и вышел в сени.

Было слышно, как Спирька возился с примёрзшей задвижкой, ругался вполголоса, наконец, хлопнула дверь.

— Кс, кс, кс! — позвала кота Мария.

Филимон оглянулся, внимательно и умно посмотрел на хозяйку, на негнущихся ногах прошелся по лавке, сел, осторожно шевелил порванными в драках с деревенскими соперниками ушами. Оба не сводили глаз с

двери, чутко прислушиваясь к звукам со двора. Все было тихо.

Мороз вцепился в щеки, выбил слезу и схватил уши. Спирька шмыгнул носом, огляделся и стал спускаться с крыльца. Под ноги ему кинулся Гоша, Спирька вздрогнул, ошалело взмахнул молотком, плюнул с досадой, увидев кобеля.

— Ты чего это, брат лихой, сдурел? Кто там есть-то, чего ты?

Выставив вперед согнутую в локте левую, крепко зажав в правой руке молоток, он пошел вокруг дома. Гоша заскулил, зазвенел цепью, но со Спирькой не пошел, остался у крыльца.

— Звезд-то, звезд! Эк, вас повылазило! Самая ночь для шабаша, да, Гош?

Спирька оглянулся, удивленно присвистнул, увидев, что кобель его не сопровождает, насторожился еще больше.

— Ну, прости мою душу грешную. Ну, если есть кто... Звездану заразу!

Он прыгнул за угол дома, изготовился! — никого. Заозирался и...замер.

Под окном что-то лежало. Свет проходил выше, и Спирьке пришлось нагнуться, чтобы рассмотреть. Когда глаза ухватили предмет, и он вгляделся, то без звука прыгнул с места назад.

На снегу, поджав под себя ноги, упираясь коленями в подбородок, лежало Нечто — размером с трехгодовалого ребенка. Тело существа с длинными перепутанными волосами, но не лицо, покрывала густая шерсть, пальцы крохотных рук скрючены в кулаки, глаза закрыты. Оно, это странное Нечто, едва слышно постанывало.

Первой мыслью было — бежать! Бежать, во что бы то ни стало. Он уже повернулся, но, сам не зная отчего, остановился. Тарашил глаза, ежился и кряхтел от переполнявшего грудь ужаса, перевел дух, с трудом заставил себя шагнуть вперед, откашлялся.

— Эй! — шепот густо повис на морозе. — Ты кто, а? Чего ты, звал — нет?

Сзади глухо взвыл Гоша и Спирька тревожно оглянулся, покосился на небо и опять ахнул. Таких крупных, немигающих и колдовских звёзд он не видел за все свои тридцать пять лет.

— Слышь — нет?

Существо открыло глаза. Они оказались невероятно большими для такого кукольного лица, бездонными и тоскливыми. Уперев кулаки в снег, оно встало на тонкие ноги, выпрямилось. Спирька, задыхаясь от вновь подкатившего под горло ужаса, смотрел.

Существо протянуло к нему руки, неловко переступило по снегу босыми ногами.

— Холодно! Каши хочу.

— Кого? — тупо спросил, наклонив голову, вслушиваясь, Спирька.

— Кашки.

— Так, — деловито кивнул, собираясь с мыслями, — кашу ты, значит. Это вот, лопаешь ты кашу, понятно, ага. Каши? Мария-то, гречку, аккуратно, ставила, в чугушке парила. Там!

Он мотнул головой на окно, для чего-то покрутил рукой у лица.

— Пойдём.

Существо уцепилось за его палец, Спирька вздрогнул, но отнимать руку не стал, а кашлянул в воротник полушубка, нахмурился деловито и пошел.

Происходящее было за пределами его понимания, шутка ли! — Не знаешь, как и назвать-то на снегу лежит, еще каши просит! Поэтому в спирькиной голове звенело, виски побаливали. Он глубоко тянул морозный воздух, передергивал плечами, стараясь не смотреть на идущее рядом неведомое.

А оно ковыляло по снегу, оставляя четкий следок с растопыренными пальцами, смешно переваливалось на ходу. Мелко вышагивало, снизу на Спирьку, чуть искоса, посматривало.

Гоша припал грудью на снег, рычал страшно, с клотаньем. Откинув задними ногами, целое облако снеж-

ной пыли, прынул в сторону, оскалился, изготавливаясь для прыжка. Хотел Спирька крикнуть на собаку, но не успел.

Неведомое существо головой укоризненно покачало, быстро-быстро на неведомом языке залопотало-заговорило. И свирепый Гоша, который на Марию глазами кровенился, а жрать-то она ему выносила...

Этот самый Гоша, что участкового инспектора Горохова загнал на сарай у баньки, изодрал в клочья новую милицейскую шинель, взвизгивал по-глупому, а матерые клыки его нежно постукивали, словно блох щелкал. Обрезанные уши преданно дергались, кобель полз по снегу, вилял хвостом, а как дополз, то принялся лизать маленькие пальцы босых ног.

Спирька смотрел, разинув в изумлении рот, — громадный язык выглаживает ноги существа таинственного, улыбается Гоша всеми кипенными, с мизинец толщиной и величиной, клыками, клонит лобастую, могучую голову.

Ругнул Спирька кобеля вполголоса и отпрянул: Гоша резко развернулся, рыкнул злобно и у ноги существа встал, оцетинился, глядя на хозяина.

А это-то, это, господи! Крохотной рукой ему в пасть лезет, греет, что ли? Так и есть, вон и другую руку сунуло.

Полчаса приводил в себя Спирька сомлевшую от страха Марию. И не крикнула ни разу, а, глянув на «гостью», зазевала нервно, замигала, и под одеяло полезла. Спирька сначала уговаривал, под одеяло руку совал, Марино лицо нащупывал — бесполезно, столбняк с бабой. Ногами сучит, как на велосипеде едет, дрожит молча.

Ну, тут Спирька не выдержал, жену с кровати на пол сдернул, наорал. Сам он почему-то перестал удивляться, только косился изредка на лавку, где в обнимку с котом сидело мохнатое чудо.

Мария на пол села, руками вокруг себя шарит, из щелей мусор выковыривает. Но зевать перестала.

— Спирь, чего это? — робко голос подала, — Господи, мать моя, чего это? Откудова ты эту... этого припер-то?

ЦВЕТЫ НА БОЛОТЕ

Спирька посреди избы топчется, волосы лохматит, сообразить пытается.

— Есть оно хочет, вот чего, — вспомнил с натугой. — Каши давай.

— Волосатое, — таращилась Мария. — Владыка милостивый!

— Отзынь! Отзынь, Мария, — неуверенно бормочет Спирька, — тебе говорю? Положено так, бывает. Ну и волосатое, что ж теперь? По зиме оно... обрастает, значит. Может, дитя одичалое. В зоопарке-то, ну, в Москве, не видала? Цыц, дура, грабарками своими елозишь, отзынь. Что, волосатых не видала?

Спирька несурaziцу несет, на месте топчется.

— А хлебушка нет? Хлебца-а бы, — чудо с лавки тихонечко.

Мария по раскрытому рту ладонью бухнула, трясется. Спирька зло на нее посмотрел, и к столу, отрезал ломоть, гостье подал. Хлеб тут же был обкусан со всех сторон, словно мышкой тронуло.

— Голодное!

Мария опять себя по рту бухнула, потрясенно смотрит. А существо положило хлеб на лавку, крошки, с ладони подставленной аккуратно подобрало в комочек и съело. Облокотилось на стол, на Марию глазами повело.

Нездешний, глубокий свет зрачки наполнил. Пульсирует, истекает он прямо в сердцевину большого Мариного тела, полнит теплотой и нежностью диковинной.

Мотнула головой Мария, встала. По глазам рукой провела:

— Что это я? Каша теплая в чугунке, сметана есть, грибков.

Через пять минут все на столе выставлено. Спирька за женой с достоинством следит, как будто все так и надо, так и мыслимо.

Сели за стол. Спирька кашу ложкой размял, маслица положил, и гостью не забыл. Три стопки у графина стоят. Спирька две до края наполнил, а над третьей горлышком графина с сомнением поводил и не налил.

Существо покивало согласно, мол, правильно, правильно, не надо, чего зря добро-то переводить.

— Ну, будем, — Спирька стопку поднял. — Слышь, по имени тебя как? Имя-то у вас... тьфу! Человеческое имя, говорю, есть, ай нет?

Щурится Спирька, огурцом хрустит, вилкой грибок вылавливает.

— Улита.

— Ага... Улита? Ну, что ж, имя, как имя. Самое русское. Из каких? Нации, или там народности? Живешь-то где?

— На болоте.

— Болотная, значит, вон оно что. Так, говоришь, болотная?

Улита в кулачок прыснула. Струится тепло из невиданных глаз, от смеха ее на душе хорошо становится, весело. И грустно немного. Но самую малость. Словно колокольчики в воздухе повисли: «Глень-глень! Синий день, села птица на плетень!».

Марии и Спирьке спокойно и хорошо, будто и не случилось ничего. Будто каждый день ходят к ним таинственные болотные гости.

«Не волосья, не шерсть — совсем ребенок малый!» — Мария думает. Сама — каши Улите подкладывает, а куда? Улита на край ложки несколько крупинок черпнет и в рот. Сама крохотуля и ест соответственно.

— Погоди, Улит! — Спирька лоб морщит. — Как же это, а? Да... На болотах про людей не слыхивали. Раз-вс, птицы, а чтобы кто жил — в диковину. Да и где жить, в трясине? Она на сколь тянется — уму непостижимо! Это в народе сказывают, мол, на болотах нечисть разная, кикиморы да леший. И то, наше болото не даром Якушкино зовут. Правильно-то Ягуш-ки-но, поняла? Это в честь Бабы-Яги, значит.

Залился Спирька смехом-бисером, корявым пальцем слезу смахнул, а Улита повела глазами, ручки на коленях сложила и спокойно так:

— Я и есть кикимора болотная.

Спирька кивнул машинально, потом вздрогнул и голову поднял — оторваться не может от глаз улитиных — тянут зрачки. Кажется ему, что не глаза это, а пещеры бездонные клубящиеся входы открыли. Вот слились они в одно — непостижимое! Вдруг колодец, в его зев Спирька на крошечный миг глянул и... Таким сладким, непонятым и страшным дурманом повеяло, что качнуло голову назад, повело скулы судорогой.

«Не обижу я ва-а-ас... — из колодца эхом. -- Мы добрые... только от людей хоронимся. Нас люди убивать стали ружьями, капканами. Птица, думают, летит, и стреляют, и болота осушают...».

Запрокинул Спирька голову одурманенную, руки вверх простер, словно позвать кого хотел, качнулся резко назад — вперед. Уснул. Упал на руки скрещенные на столе, положил на них тяжелую голову и заспал свое изумление, со страхом смешанное.

И Мария уснула. Сидя. Улыбается во сне во весь рот, нитку слюны от хорошего сна пустила.

Улита печально смотрит. Ресницы длинные распушила, нос точенный, губы, как положено полу девичьему, луковкой-бантиком. Струится волос на плечи. Если бы не взгляд взрослый, не тело, шерстью обросшее, совсем дитенышка малая, трехгодовалая.

Как представить, что в эдакий мороз она босиком по снегу шагает, так нормального человека оторопь возьмет. Человеческое дите на такое не способно.

Тихо. Темно. С холода стекло треснет, или Гоша во дворе гавкнет сторожку, цепью загремит, и опять тихо.

Из часов-ходиков настенных кукушка выглянула, хотела прокуковать, да спящих увидела — раздумала. Кивнула для порядка, сколько положено и за дверцу спряталась.

Участковый Горохов шел к Демиду Цыбину ругаться.

Дело пустяковое, но... В авторитете участкового дело то. А Горохов справедливо считал, что без авторитета в «органах» быть немислимо. Так вот.

Демидовская жена Гороховскую всенародно у магазина «заразой пустоголовой, лахудрой приезжей» наобзывала. Правда, Катька Горохова всем оскомиону на языках набила, первая сплетница и трепушка. Мало ли у кого, что в семье-то?

Так эта самая Катька все вызнает, отшпионит, от себя присочинит и всем растрезвонит. Горохов ее корить пробовал, серьезные разговоры случались. Кто для деревенских «участковый» — тот для Катьки дома «черт лупоглазый, образина хохляцкая...». Или того хуже — кобелина долгоносая».

Катька баба смазливая, на ласку хитрая, в разговоре с мужем так повернет, что все вокруг виноватыми объявляются, только она одна правдивая, всеми оболганная.

Горохов домой туча-тучей, а Катька к приемнику, музыку повеселей поймаст-накрутит, руки раскинет и по комнате бабочкой, и так-то голову наклонит, и так-то ладошками покрутит! Черт, а не баба. Горохов шинель скинет, на стул сядет, хмурится, а украдкой смотрит. Потом словит Катьку за подол, к себе притянет и ну целовать-пестовать.

Горохов у ворот цыбинского дома сигарету докурил. Соседский дом, где Спиридон Терехов с Марией живут, он без внимания оставил. Давняя обида на сердце занозой.

Все-таки не выдержал участковый, покосился — так и есть! Ишь, стервь, кобель тереховский на крыше конуры зубы скалит. У-у, подлюга, до чего здоров-то. Морду отвернул — презирает. Вспомнил Горохов недавний случай, расстроился.

Этот Гоша проклятый его при исполнении служебных обязанностей на сарай загнал, шинель новую в лоскутки и полосы истерзал, а сапог казенный так жевал-кусал, что из него и заплатки не будет.

Было так, значит. Спиридон Терехов по дурости своей на крыше сидел, а участковый мимо шел. Слышит, Спирька кобеля материт всяко и шифером кидается. Кобель хриплым лаем исходит. Решил Горохов Спирьке

внушение сделать, мол, неприлично и странно это сидение на крыше, тем более, вышивши.

Во двор зашел, а вот дальше суматоха вышла. Пока он внушение вежливо делал, у кобеля цепь лопнула. И как такое произошло — уму непостижимо! В палец толщиной цепь-то, звенья стальные.

Полдеревни Гоша участкового гнал. Цокот подков на милицейских сапогах метрах в десяти сзади бегущего оставался. Выручило Горохова то, что со всякого рода препятствиями еще в армии научили ловко управляться. Десантник бывший мелкие заборы птицей перелетал, высокие махом, по-учебному. Пока-то Гоша обход найдет.

Участковый на сарае Мироники угнезвился. Когда залезал, сапог потерял, а шинель от жары скинул. Пристрелил бы проклятого, да пистолет в сейфе, а в кобуре кусок колбасы копченой и хлеб, Катькой завернутые. Провизию Горохов съел, задумчиво глядя, как расправляется с сапогом и новой шинелью тереховский волкодав.

За шинель Спирька заплатил, а за сапог платить отказался, мол, не виноват, что с ноги слетел. Горохов дела заводить не стал, хоть и ясно слышал, как Спирька с крыши кобелю во время внушения жаловался: «Чего он, Гош? За что ругается-то? Узы его, узы законника».

От Спирьки участковый отступился. Охота дураку на крыше сидеть и пусть его. Крыша Спирькина, дом его. Но во двор к ним Горохов больше не заходил. Нужда была — через забор общался.

Горохов воротник шинели поправил, шапку-ушанку ребром ладони проверил — не сбилась ли кокарда? — и калитку ворот толкнул.

— Здорово!

Демид Цыбин удивленно брови вскинул, на участкового в прищур смотрит. Тот остатки снега стряхнул, дверь в сени аккуратно прикрыл за собой, сапогами в половой тряпке зашаркал.

— Сын в школе? — участковый лоб вспотевший вытирает.

— А где ему быть-то?

— А жена? — Горохов огляделся.

— А и где ей быть-то, на работе. Председатель картошку ни свет ни заря перебирать погнал. А чего ей делается-то, картошке?

— Попрееет.

— Ране не прела, а нынче попрееет? Чтобы служба медом не казалась, вот чего.

— Может, и так может быть. — Равнодушно кивнул Горохов.

Демид настороженно смотрит. Прошлой ночью они с женой в свой подвал пять мешков комбикорма скинули, так что в посещении дома участковым он некий смысл искал-угадывал. Комбикорм-то из фермы, его знакомый шофер привез, и Демид прикидывал — кто из соседей мог видеть, как они мешки из кузова на двор заносили.

— Демид Карпыч! — Горохов насупился, — Ты свою бабу урезонь. Непорядок это, при людях мою Катерину обзывала всяко. Чуть не до драки дошло.

У Демиды от души отлегло, засуетился, со стола крошки смахнул, сигареты и пепельницу с этажерки снял, перед Гороховым поставил.

— Чего они сцепились-то?

— Да Катьке наболтал кто-то, мол, на сберкнижке у тебя сорок тыщ положено, она к твоей бабе и пристань — откуда, да откуда? Твоя говорит, вранье, брешут, мол, люди, а Катька про каких-то свидетелей. Вроде, мол, твой сын в школу книжку таскал, показывал.

— От дуры-бабы, а? — Демид смеется, — сорок тыщ? Ополоумели никак? Такую прорву денег и не украдешь нигде. Вот сплюхи губастые, язвы их! Да были бы они, разве ж я в деревне жил-то? Я б в городе из ванной сухое вино попивал, а то и коньяк через трубочку. По телефону наяривал. Сорок — это ж убиться можно.

Демид в чашку из кувшина квасу налил, пододвинул участковому. Горохов усы разгладил и к чашке припал. Демидовский квас на всю округу славен.

— Чем его твоя баба приправляет, а, Демид Карпыч?

ЦВЕТЫ НА БОЛОТЕ

— Баба... — Демид презрительно. — Кто ж ей доверит-то, бабе? Сам и завожу, сам настаиваю. Главное, хрена не жалеть, а там пойдет. Бывает, бутыль в клочья разносит, до того ядрено пенится.

— Ну, давай еще чашечку. Спасибо. Значит, ты бабе своей скажи, я их обеих по червонцу штрафану, и свою, и твою. При людях в крик кидаться из-за всякой ерунды.

Демид участкового до ворот проводил, долго вслед смотрел.

Он, Демид Цыбин, на деревне в загадках слыл. Мужик кряжистый, шести пудов весом, плечищи, что лемеха плуга. Как повернется, так, кажется, со свистом воздух режут плечи-то! Побаивались его.

Кололи где кабана, валили телушку или овцу — звали Демиду. Шел со своим инструментом. Деловито осмотрев животное, садился курить. Дым пускал из ноздрей, не морщась, крепко сжав в нитку тонкие губы. С каждой затяжкой дышал чаще...

...Пастух, дед Кроха, завидев издалека Цыбина, подхватывался из последних сил бежать, куда ни то, главное, чтобы не встречаться, не разговаривать. Если в деревне, то перебежал на другую сторону улицы, заходил в первый попавшийся дом; если в поле, то затаивался в кустах, а то и просто ложился на землю.

Дед Кроха вслед Демиду посмотрит, щелкнет кнутом яростно и «Богом — в душу — Христом — мать» выговорится. Но поплевать через левое плечо от сглазу ни за что не забудет, иной раз и на пятке покрутится, мол, «чур-чур-чур меня!».

Но знали бы люди то, что приходило к Цыбину по ночам. Что тревожило его неустанно, не оставляло ни в холод, ни в зной. Знали бы, аж страшно стало бы им и еще больше избегали бы этого кряжистого мужика с водянистыми, пустоватыми глазами, со скользящей походкой охотника.

Тревога была старой. Он сжился с ней, врастил в многопудовое тело, без тревоги не мыслил жизнь. Иногда она переходила в приступы животного ужаса. Ужас

сбрасывал по ночам с постели, сушил гортань, покрывал ладони нехорошей липкой испариной. Тогда Демид бледнел, крался к окну и выглядывал в ночь безумными глазами загнанного зверя.

Ночи его были нарезаны на «куски», у каждого было время. Самый страшный кусок начинался после двух. Чтобы не разбудить жену, он крался в сени, вставал у стены, закрывал глаза, сдерживал дыхание — ждал. Тишина давила на перепонки, пульсировала в горле. Демид слушал удары сердца, ощущая, как неотвратно приближается «Оно!»...

Деньги у Демида были. Не сорок тысяч, а больше, что греха таить. Гораздо больше — ровно девяносто три тысячи, положенных на книжки в разных городах. Тратить-то куда, господи? Разве что трактор колхозу подарить? Мысль эта казалась ему до того смешной, что он часто возвращался к ней, смакуя в невозможных подробностях.

Закрыв калитку ворот, он встал посреди двора, оглядывая немалое свое обзаведение. И не мог знать, не предполагал даже, что прямо в его затылок смотрит из соседнего дома судьба.

Плавит нездешние глаза, туманится всепонимающими зрачками, прямо в нутро гнидино проникает. А крохотные кулачки к щекам прижала.

Тренированное за многие годы звериное чутье не подвело — оглянулся Демид беспокойно, рыскнул по сторонам глазами, в дом пошел. Когда дверь прикрывал, еще больше обеспокоился, в оставленную щель надолго взглядом вынырнул.

К вечеру он напился. Сидел в комнате, поставив набрякшие кулаки на стол, тяжело смотрел на сына.

— Зачем сберкнижку трогал, свиненок?

— Какую? — Сережка испуганно жался к этажерке.

— Иди сюда. Стой! Ползи, гаденыш.

Сережка пополз на коленях, всхлипывая и дрожа. От лютой пощечины опрокинулся на спину, заплакал в голос.

— Запомни, сученок, еще тронешь — убью. Моли Бога, не моли, убью, в саду закопаю, а в школе скажу, что в интернат отдал. И ты! — Демид повернулся к замершей жене. — Еще с кем поругаешься — язык вырежу и спирькиному кобелю скормлю. Поняла? Кого спрашиваю, падаль?

Жена кивнула, бочком-бочком к сыну, с полу подняла и на колени пристроила, гладила гудевшую от удара голову, в маковку вихрастую целовала.

— Хошь, песенку спою?

— Давай, бестолочь.

— Кому сямю лю-лю катялма ой, кли мо сямо ту-ту ля кусьма-а!

Была у Марии со Спирькой такая игра: придумывали в хорошие минуты вот такие песни из набора глухих бессмысленных словосочетаний. И чем глупее, тем смешнее. Без мелодии.

— Ладно, чего ты так громко-то, люди услышат.

— Манька, Мария моя ненаглядная! А плевали мы на них, на всех. Дай поцелую.

— Сдурел, мужик, что ты, ей Богу? Посреди деревни-то, черт непутевый.

— На мужа грубить? Ну, все.

Кувырнулась Мария в снег, руки растопырила, только привстала, а Спирька сверху: «Ура!». Свалил жену и в залепленное снегом лицо целовать. Мария притворно отбивалась, ногами дрыгала, а когда за шиворот его рука со снегом просунулась — заорала на весь белый свет. Спирька, как на катапульте, подлетел, опрокинулся.

Шум подняли на всю округу. Поднялись, друг на друга не смотрят, мол, сердятся, Мария сбившуюся шаль оправила, Спирька шапку от снега отряхивает. Покосились — рассмеялись и дальше пошли.

Дорога известная, годами нахоженная: улицей к оврагу, там по мосту и вниз к речке Капельке. За ней тропа на две стороны разбегается — влево — это к мастерской, где Спирькин трактор стоит, вправо — к ферме, там коровы Марии дожидаются хозяйку.

А хозяйство называется «Маяк». Название хорошее, всем нравится, но, если честно, никому этот «Маяк» не светит. Среднее хозяйство, доходы средние, убытки тоже, так на так и выходит. Что положено, государству сдают исправно, а забирают в закрома Родины не меньше. Нагоняями и премиями не густо балуют, а по районной газете судить, то и вовсе несуразное выходит.

«Труженики «Маяка» выходят на новые рубежи...». Или еще — «Механизаторы наращивают темпы!». Спирька всегда плевался, мол, если просто по годам эти темпы растущие подсчитать, то они должны до небес вырасти. Даже если по полпроцента наращивать. Но вырезку с фотографией Марии на стену повесил. Рядом с бабой голой, что из воды вылезает, а мужик с копытами и рогами за ней подглядывает, «Сатир» обзывается.

Неспешно идут. Запас времени есть, беседуют.

— Уйдет она не сегодня-завтра, как думаешь? Чудно, где они там, на болоте живут? Без одежды находятся. С холоду не гинут, может, землянки роют, так опять же, какие в трясине землянки? Гнезда вьют, вроде птиц? Относительственно все это, очень относительственно.

— Что за слово глупое придумал, Спирь?

— Дура-баба, это физик один сообразил, ясно? В журнале про это есть. Сам еврейской нации, а жил в Германии. Так вот, все вокруг относительственно. Например, иду я с тобой, а, может, это не я, другой мужик из другого мира, перевернутого. Вроде изнанки, и ты это не ты, а видимость. И живем мы относительственно, для нас это жизнь, а кто другой из-за этого подход с изнанки, поняла?

— Брехня. Если подход, то все равно, хоть с изнанки, хоть с лица. Подход — не перелицуешь. Относительственно? Я — не я... Дерну за волосья — это кто будет?

— Другой, — истово Спирька заявляет, глазом не моргнув, — я заору, факт, а тот от счастья щурится, вот, мол, какая баба меня ласкает.

— Ой, балбес, ой, помру!

Посмеялись, дальше идут.

— Спирь, чего думаю, полетели люди в космос, так?

— Ну.

— Про это все талдычат. А откуда он, космос этот? Как из ничего вышло все, и почему вышло? Ничего — оно и есть ничего. Не верю я, что там никого нет, — Мария в небо пальцем ткнула. — Всему начало есть, и космосу этому. Тайная это штука. Вот Бог...

— «Штука!»! «Бог!»! Ломишься по жизни, чисто лошадь Пржевальская, ломом тебя не сдвинешь. Ты про Бога что ли? Космонавты в космос, как в баню лазают. Не успела перекреститься, уж другой летит. Баба, все у тебя не так, Улита пришла, дитя отогреть надо, а эта ртом зевает, руками машет бестолку. Тьфу, прибить бы тебя. Давно не битая?

— Давно, — Мария притворно, — ой, давно, с самой свадьбы. Спирь. Про ту ночь-то, сомлела я, страшно-то как, Господи, волосья на ней!

— По-первости оно так, потом ничего, я пригляделся — нравится. Глаза прямо в серединку смотрят.

— Мне бабка сказывала, раньше на наших болотах их видимо-невидимо было, кикимор-то. К людям выходили, а если заболел кто, так сам на болото шел и их выкрикивал. Лечили людей травами. У прадеда, бабка говорила, с каторги ногу скрючило, так они ему ее выправили. И чахотку вывели, во как. Он на кикиморе жениться хотел.

—хлопотное дело.

— Ты в избе не кури.

— Чего это?

— От твоего табаку пауки падают, а дсвочка вольная, от дыму задохнется.

— Ну, прям.

Спирька с сомнением папиросы в кармане пощупал, подумал и кивнул.

Тут и разошлись согласно тропе. Через положенное время оглянулись, Мария кивнула, а Спирька рожу скорчил, как заведено.

У Спиридона работа ладится. Трактор вылизал так, что инженер после совещания с председателем на сто рублей премии бумагу подписал. Трактористы руками разводят — что с Тереховым творится? Вон и сало с мороза твердое, и бутылку спроворили, и лучок с хлебом наготове, а Спирька ветошью руки обтер и в бега. Мол, домой надо, некогда. Разбивает, дезорганизует змей компанию!

Дорогу до дома одним духом! — нет ее. В избу заскочил, глазами по сторонам — тут она, не ушла. Помылся и за стол беседовать.

— А вот, к примеру, хвори лечить умеете? — к столу грудью припадает. — Болезни, у нас их несчетно стало. Журналы считаешь, жить не захочешь, человек в болезнях, как пень в лишаях. Инфаркт, грипп, рак еще вот. Умеете лечить на болотах ваших? Ну, хоть, рак-то?

— Какой он?

Улита с лавки смотрит, ногами болтает, улыбается. Если в голос засмеется, опять колокольчики по избе: «Тлень-тлень! Синий день!».

Спирька солому головы чешет, как объяснить пигалице нездешней, что есть рак? Мария, спасибо, на помощь к мужу поспела, с краю лавки примостилась, озабоченный лоб морщинками собрала.

— Это, доченька, в желудке, или еще где, вроде гриба поганого заводится, и гриб этот сок телесный пьет.

Улита слушает внимательно, не мигая, не двигаясь.

— Кровь этот гриб, значит, — Спирька продолжает, — портит, а человек тварь относительственная, сразу сохнуть начинает, худеть, и амба!

Для наглядности Спирька кулаком по столу треснул так, что кот Филимон, на лавке прикорнувший, заорал по-дурному, на печь сиганул, оттуда сатанинскими глазами выглядывает: «Рррмяу, кто его знает, хозяина-то, вдруг, опять накатило?».

— Такое знаю, — задумчиво Улита по губам пальчиком ведет. — Это бывает, когда человек много радуется,

а потом сразу горе, или страх приходит. Или совсем без радости живет, все время тревожится, переживает.

— Во, едрена-матрена, что ж это? На пахоте нервничаю, на ремонте нервничаю, дома, — Спирька опасливо на Марию глянул. — Ну, жизнь, ну, зараза!

— Не то, — Улита с улыбкой. — Про это тревога хорошая. И про детей, и про работу, про жизнь — это все хорошее. Плохое, когда человеку не хватает, одному власти, другому денег, еще кому — еще чего-нибудь. Мучается, тревожится — от этого рак бывает.

— Отвяжись, Мария, отзынь, чего пихаешь? Что особенного, знать хочу. Так, Улит, лечите вы его, рак-то?

— Траву пить надо, есть такая. Она тогда была, когда еще ни людей, ни нас, ни зверей — птиц не было, очень древняя трава, «Витания» называется. У нас не растет, ее далеко в горах собирают.

Мария Улитины волосы гребешком чешет. Смотрит Спирька, а из-под зубьев искры, да крупные — чудно.

— У меня годов пять болит поясница, по холодам в тракторе застудил, кабину выдувает. В район ездил, так мазь прописали, вонючая, спасу нет. Не помогла. Говорят, надо на грязи ехать. Умора, у нас, как распутица, так этой грязи по ухи. Мол, там лечебная, а меня сомнение берет. Стой, Мария, а палец-то?

Спирька кривой указательный палец выставил, сам его со всех сторон осмотрел и хмыкнул.

— В носу ковырять способно, а больше куда?

— Болит? — Улита от Марииной руки отстранилась, бровки подняла.

— Скрючило, косою резанул. Иной раз к дождю дергает, и в варежке зимой мерзнет.

— Охота на твою уроду смотреть!

Мария рукой махнула, к печи пошла, у нее там гусятина в чугушке прела. Век бы так — в доме разговоры, а она по хозяйству ладит.

— Дай вон то. — Улита показывает.

Удивился Спирька — обыкновенная иголка в стене торчит, на что она девчонке? Но вытащил, Улите подал.

Она с лавки прыг и к Спирьке, руку его в свою взяла. Другой рукой тихонько по лбу стучит, в глаза пристально смотрит.

— Тихо... Здесь тихо. Тебе легко-легко, ничего не чувствуешь.

Мария только сказать что-то хотела, мол, к чему это? И оторопела — сидит Спирька, глаза закрыты, лицо спокойное, прямо, нездешнее лицо какое-то.

Улита иголку в сустав больного пальца наставила, и раз! Насквозь проткнула, наклонилась, пошептала, подула и выдернула иголку, языком прокол лизнула, опять на лавку села. Смеется, ногами болтает, гребешок взяла и сама расчесывается.

Спирька с минуту каменным истуканом сидел. Мария идти — ноги не идут.

Наконец, оклемались. Спирька глаза открыл, как конь головой вверх-вниз помотал, на палец смотрит — и ничего особенного. Пошевелил, а палец возьми и согнись! Мать-честна, не то, чтобы вовсе, а гнется, как положено, чуть-чуть что-то мешает.

— Потом лучше будет, потом совсем пройдет.

— Ишь! — Спирька косится, — Колдовство какое, нет?

— Нет, колдовство — зло, — Улита нахмурилась. — Нетопырь колдует, он потому один живет. Мы с ним не играем. Нас Ягушка колдовству не учит, она нас лечить учит, глаза отводить, чтобы не обижали нас. Ягушка Нетопыря скоро прогонит, пусть себе другое болото ищет, или к кому-нибудь на чердак переселяется. Ягушка его уговаривала — не пугай детишков, когда по ягоды идут, собак не трави. Много он пакостей делает. Да ну его совсем.

— Погоди! Ягушка.... Это кто же, Яга что ли? Видала их, Мария, Яга у них в воспитателях. А этот, Нетопырь-то, кто, фамилия такая или кличка? Сколько ж вас там, едрена-матрена, никак народ целый. Того хлеще — государство карликовое, слышал про такие, в Европе есть. Яги, вишь, у них, Нетопыри... И Леший водится?

— Лешенька несчастный, больной совсем. Он рпку любит, а у вас на огороде плохой человек селитру сыпет, он наелся и чуть не умер. Ягушка его спасала, только все равно болеет. Лешенька людей от омутов отгоняет, от трясины плескучей отводит. Как хохотать начнет, так люди и бегут, того в толк не имеют, что не со зла это, а от беды охраняет.

— Улитушка, девчушка моя родненькая! — Мария лаской плавится. — Как ты, маленькая, на снегу-то оказалась? Чего с болота ушла?

Улита в пол смотрит.

— Я травку заветную пролила. Мне Ягушка говорила — не тронь, не балуй, а я не слушалась! Теперь по весне кикиморухек меньше будет.

— Не плачь, кровинушка моя, ласточка ненаглядная. Ничего, Бог даст — все образуется. Иди ко мне, иди. Хочешь, сказку тебе скажу, а?

Мария Улиту прижала, гладит, целует, волосенки нюхает.

— Сказку... — Спирька лоб чешет. — Кто в них нынче верит? Только те, кто их складывает. Людей ничем не удивишь. По Луне ходят, в океаны ныряют, атом, как лучину, шиплют. А чего его расщеплять-то? Может, и не с нашими мозгами в атом соваться. Машину придумали, в шахматы играет, а на что? Вместо шахматной машины лучше бы пенсионерам-старикам в городе бесплатное молоко наладили. На, мол, старина, пей — не хочу от пуза. Раньше против религии шли, в этого, ну, на облаках, не верили. А церкви для чего ломать, гады подколотные? Закрашивать их зачем? Роспись-то. Теперь что, теперь за это свободно срок можно схлопотать, потому народное достояние. Вон, наша церковка была расписной от маковки до низу, я еще помню. Нашелся умник, из своих же. В председатели выбрали, так он велел ее известью вымазать и склад замастырить.

— Как ты помнить-то можешь? Это в двадцать седьмом было, — Мария от возмущения аж задохнулась, — вот враль-то, дьявол, вот брехун!

— Ну не я, так бабка сказывала, отзынь, не встревай, когда старшие говорят. Так вот чего, Улит, из Москвы бородастый приезжал лет десять назад, по этому делу, по росписи, значит. Так плакал, портфель кинул, на камень присел и ну рыдать, в голос. Мы с ним две бутылки выпили. — Спирька осекся, на Марию косится.

— Вам, чертям, ведро дай — слупите, — та не преминула заметить.

— Кто это?

— Где, Улит? — Спирька за Улитой к окну. — Цыбин, сосед, ну его к свиньям, нехороший он.

— Он страшный! — вскрикнула Улита так, что Спирька с Марией вздрогнули. — Очень. Вижу я. Страшно-о-о!

Закачалась Улита из стороны в сторону, лицо задергалось. Обхватила руками подогнутые колени, ссутулилась, волосы по плечам струями текут, а глаза шире и шире! И, кажется, нет предела их раскрывающейся безмерности.

Безумием и вечностью пахнуло в лица растерянным Марии и Спирьке Тереховым. Закружило в омуте волн бесчисленных, что струились из фиолетовых глаз болотной девочки. Раздвинулись грани видимого, замерцали в пространстве колючие звезды и словно из недр Земли вековой зазвучал прекрасный голос, надрывно зазвучал, на пределе, рождая гулкое, напряженное эхо.

— Страшно, холодно... опять Оно: руки-кости... печь! Печь! Ненавижу. Где ты, ау!

Улигу затрясло. Закатились зрачки, открыв необыкновенно голубые, с перламутровым отливом шарики глазных яблок. Посинели губы в прикусе, а голос растет, в крик перешел. На пронзительной, сверлящей слух ноте.

Белеют лица Марии и Спиридона, в упоенном страхе и восторге уставившихся на пророчицу.

Опрокинулась Улита на спину, тело дугой выгнула, стонет, голову руками сжала от боли невыносимой. А Спирька...

Он, не отрываясь, смотрел в ее лицо, пытаюсь вспомнить, во что бы ни стало улыбку. Мертвенную, до боли

знакомую, жутковатую улыбку человека, которого он знает. И вскрикнул вдруг, и со стула слетел, схватил Улиту за крохотные плечи.

Он вспомнил.

На лице болотной девочки, кикиморы сказочной — стыла улыбка Демида Цыбина, убивающего корову.

Потом Улиту снять уложили. Мария полушубком прикрыла, погладила и слова хорошие пошептала. И сами легли, не разговаривая, не тревожа то странное состояние сопричастности с неведомым, прекрасным, сказочным и страшным одновременно.

Тайна ходила по их теплой избе, заглядывала в укромные углы, наполняла сердца тревогой, ожиданием и ответственностью родительской.

Сопело на печи, вскрикивало во сне «чудо-юдо болотное», кикиморушка большеглазая, дитенышка ненаглядная.

Кот Филимон на лавке сидел, ушами типину подстригал, на составные части каждый шорох раскладывал. И Гоша, волкодав грубый, у крыльца притаился, тяжелую голову на ланы положил — мало ли что?

У председателя хозяйства Пашкова с сорок второго в правом бронхе осколок сидит. Маленький, с две головки спичечные, а вредный. Залетел туда в коротком ночном бою, когда, от роты, где Пашков служил, всего семеро осталось. Вернее, восемь, если Клаву считать, медсестру. Правда, Клава теперь не Клава, а Клавдия Егоровна Утехина, второй человек в районе, но не о ней рассказ.

Так вот, остаток роты жалкий почти три месяца по лесам скитался, пока на партизан не вышел. У Пашкова рана зарубцевалась, зажила, а осколок остался. С той поры и кашляет председатель, особенно в непогоду и если тяжелое что поднимет.

Много воды утекло. У Пашкова семья, сам пятый, успел из бригадиров в начальство выйти. А кусок железа сидит. На рентгене хорошо виден — маленький, края неровные, формой в месяц народившийся, или серп.

Пашков так кашлять стал в последнее время, что синевой землистой с лица берется. Сплюнет, там кровь прожилками. Иногда пластом лежит, не отдышится. Похудел, смотреть сквозь него можно, не ест, не пьет, за грудь уцепится и с хрипом дохает.

Удалять? Врачи боятся, уж больно сердце у Пашкова, как один врач сказал: «Все в заплатках». И то боязно, наркоз ведь, а? Можно и не проснуться.

Народной медициной Пашков лечился. Жена столетник, растение такое, алоэ из города привезла, целых три горшка, горькое — вырви глаз. Пашков его по утрам натошак жевал, матюгался во всю на горечь лютую. Надоело, козлу скормил все четыре горшка, а землю под окно высыпал.

Председательский козел тем и знаменит, что хочешь, сожрет. Мочалки синтетические ему на спор специально давали, а раз у Кирилова (это глава района) галстук «живьем» съел, прямо на глазах.

Козел все лекарства, какие Пашкову выписывали, на себе перепробовал, ничего не берет. Пашков завидовал, грозился прирезать тварь живучую.

Лечится Пашков, прополису сколько выцедил на спирт — немислимо! «Мать и мачеху», травку полезную, для него сыновья на полчердака готовили.

Дальше — больше. Светится Пашков, как снимок рентгеновский, ребра, скулы, нос — больше ничего. Не спит, кашляет, того гляди, помрет.

Жена криком кричит, в райцентр мотается, то одно лекарство, то другое — мура. И Пашков наотрез отказывается к врачам ходить, мол, резать не хотите — пошли вы все. И слова разные старательно так выговаривает. Сыновья, бугаи под два метра, и то краской с лица текут.

— А это кто?

Спирька к окну, смотрит, на кого Улита через занавеску показывает? Разглядел, девчонку по плечу погладил.

— Пашков, председатель наш. Дошел человек совсем. Мария, чего баба его говорит, будет ему операция, ай нет?

Мария тряпкой руки вытирает, нюхает их, видно, опять от крыс и мышей морилку в норы подпихивала. Толку-то? Нынче крысы какие? Для них отравы, что одколон для алкашей. Тьфу ты, про крыс ведь разговор шел.

— Нет, не будут резать. Говорят, в Москву надо ехать, там ложиться. Позавчера на ферму приволокся, чуть не упал, спасибо, Самохина подскочила. Помрет, вместо него Семенова из райкома пришлют.

— Кого? Мели, черт, Семенова... Он рожь от подсолнуха не отличит. Что грабли свои нанюхиваешь, поди, опять мышей гоняла? Была охота.

Спирька в окно глянул. Вдруг, охнул и на улицу. Мария посмотрела, занавеску шире раздвинула, и... следом. Что такое?

Пашков падал на покосившийся забор спирькиного двора медленно, как в кино. Рукой за горло, подбородок запрокинул и падает. Небо синее Пашкову глаза ест, боль грудины сковала, а сердце ухнуло куда-то. Куда? Да откуда выбраться невозможно.

— Подмышки его! Подмышки вытягивай. Куда? Тьфу, ты! Дура, головой о косяк стучишь. Господи, ну, идиотина! В тебе силы-то, силы... как у трактора... а мозга? погоди, развернусь. Говорю, мозга нет... вовсе... Запыхался, стой! — Спирька дух перевел. — Заносим!

— Спирь, давай на кровать. Прямо, нутро зашло. Не помрет?

— Цыть, сученка, я те дам «помрет»! Ноги закинь, как следует, чего ты его тронуть боишься? Смотри, худой, а как свинцом налит.

Когда они председателя в дом поволокли, из окна соседского дома Демид Цыбин нос о стекло плюшил. Полынья в намерзшем ледке образовалась от его духа крепкого, было видно, как плывут в улыбке мокрые демидовские губы... Бегут морщинки у глаз колючих и, отрывая пуговицу у воротника, скребет горло рука с траурной каемкой под крепкими ногтями.

Пашкова на постель. Мария с него валенки утянула, полушубок, а Спирька коробку с лекарствами грудой на стол шваркнул. Полетели пузырьки-банки-склянки, таблетки разные во все стороны.

— Дышит, Мария? Чего молчишь?

— Не в себе, бессознательный. Надо в Правление бежать.

Про Улиту забыли, она с печи внимательно за происходящим смотрит, глазки прищурила, виски пальцами потирает.

— Спирь! — Мария глаза вытаращила, — А фельшерца в город умотала, сама видела, как поехала. Что делать?

— Иди, сюда иди, чего тут есть? «Корвалол» от чего, годится, нет? Ты в прошлом годе его пила! От чего ты его трескала, пагуба моя?

— Кончается он! — Мария заплакала. — Кровь изо рта.

Спирька стул брыкнул, припал ухом к впалой груди Пашкова — дышит?

Замер, потом к Марии мертвенно бледное лицо:

— Помер.

— Насовсем?

У Марии глаза, что полтинники, бледная, губы трясутся.

— Дуй к бабе его. Детей зови! Что стоишь, зараза?

— Не надо кричать, тять, с мамкой на лавку...

Улита на кровать села и быстро ко рту, раскрытому в муке смертной, прижала.

Задышала сильно, воздух в недвижную грудь погнала. Где сердце пашковское усталое затаилось, там две маленькие руки легли — нажимает мерно, сильно (откуда сил-то?). Вдох-выдох. Вдох-выдох, нажим-нажим-нажим... Подышит, сердце понажимает.

Сколько так длилось — неведомо. И запела, сначала тихо, потом все громче и громче.

Поплыли у Марии перед глазами кольца-круги, в разноцветную воронку сошлись, где у нее вход, там даль белизны нестерпимой.

Только кто-то просвет заслоняет, пройти в эту даль не дает. Силится Мария понять кто это, но чем больше слабый разум свой напрягает, тем отчетливее кто-то становится, тем больше ее страх охватывает. До того ей узнать хочется мешающего свет высмотреть, белизну поглядеть, что она зубы сцепила, напряглась изо всех сил, и страшно, и боязно,

Вдруг, крик высокий сознание пробил: «Маманька, не мешай! Не думай! Не думай!..». Мария обмерла, хотела глаза открыть — и не смогла. Сидящего рядом мужа нащупала, за плечо насмерть ухватилась.

А Спирька сомлел. Ничего ему не мерещится. Слушает звон колокольчиков: «Тлень-тлень, синий день! Села птица на плетень! Ходят звери около двери, в них стреляют — они умирают».

Пашков в колодец сверкающий смотрит. Крутятся стены колодца быстро, непонятно, как бы сразу в разные стороны. Жутко ему и сладко в колодец заглядывать, словно манит его кто, зовет, мол, иди, председатель, не бойся.

Чувствует, что две руки малые его назад вытягивают, сильно так. Сперва ровно и медленно тянули, потом рывками, наконец, так дернули, что Пашков закричал отчаянно, в яму черную провалился, ударился о дно всем телом, застонал от боли невыносимой и в себя пришел.

Хрипло дышит, но дышит. Сердце колотится, того гляди, выскочит. Веки приподнял — незнакомое лицо из тумана проглядывает. Глухая песенка детская на языке — «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить...».

Улыбнулся Пашков, мол, сплю еще, и правда, уснул.

Обернулась Улита к Марии, та и ахнула! — старушка вместо девчонки-хохотушки смотрит! Встала кикиморушка, еле ноги волочит, медленно к печи прошла, залезла, закидала себя рухлядью и притаилась, ни звука.

Спирька возле кровати на табуретку сел, на спящего председателя рот разинул: «Живой, люди добрые, живой!»

А, было, помер...» Посидел, подивился и велел Марии к Пашкову домой идти, родных звать — перетаскивать.

Жене Пашкова Спирька про обморок подробно рассказал, а вот то, что он «по ту сторону земли» был, умолчал. И кто вытянул оттуда, тоже не сказал, зачем? Не поймут, разговорами надоедать станут.

В пятницу вечером Спирька к Пашковым в дом ввалился, прямо к столу попал, вся семья в сборе. Здравствуйте — не сказал, шапки не снял. Впрочем, по порядку.

— Кипяток есть?

У жены Пашкова глаза на лоб — у него кипятка в доме нет? Пьян Спирька? Хотела обругать, председательша баба строгая, недугом мужа задерганная, но пригляделась — не пьяный. По самовару ложкой постучала, мол, вот он, кипяток-то, залейся.

— Ты, Спиридон, не шарить меня собираешься?

Спирька молча из принесенной тряпицы две свернутые бумажки достает — в одной щепоть оранжевого, в другой зеленого порошка — это Улита прошлой ночью на час-полтора из дома куда-то бегала.

В две чайные ложки порошки насыпал.

Старший сын Пашкова Юрка нагнулся посмотреть, а Спирька ему затрецину — швах! Председательша опять хотела взвиться, но Пашков ее за руку придержал, молчи.

— Я, Спиридон, после того, как в дому у тебя полежал, так ночь проспал, как лет двадцать не спал. И сны чудные смотрел.

Пашков пытливо на Спирьку смотрит, а тот молчит. Кипятка в кружку налил, протягивает:

— Мелко глотай, ошнарь глотку, потом это на язык. — Оранжевый порошок подсовывает на ложке, — об небо разотри, не глотай, само всосется.

Отхлебнул Пашков из кружки — и чего? Кипяток, он и есть кипяток. На домашних смотрит, улыбается. Дочь-невеста рядом с матерью за столом сидит, брезгливо губу

покусывает, мол, «хиромантия» вся эта медицина народная, зря, батя, ой, зря.

Двое сыновей одной горой у двери стоят, притолоку подпирают, мол, чудит Спирька окаянный, но мы посмотрим, мы посмотрим. Если чего — в осиновый лист раскатаем, а Пашков порошок на язык, сморщился — гадость наигорчайшая.

И началось! И поехало, закрутилось, завертелось.

От оранжевого порошка свело председателя в белье-вую веревку. Кашель напал лютый. Качает его на стуле из стороны в сторону, покраснел, слова не вымолвит, руками в грудь вцепился — нет продыха. Вдруг, кровь изо рта густо.

Жена в панике, запричитала, руками бестолково машет. Дочь мела белей стала, а сыновья рукава засучивают — Спирьку катать-валять, рожу драить. Ближе уже подступили, того гляди, в ухо мочить начнут.

— Таз давайте, подлюги!

Спирька орет, Пашкова за плечо придерживает, держись, мужик. «Ах, ты, Христа-Бога — душу-мать!». Приволокли таз, подставили, Спирька показывает — сюда, сюда плюй!

И звякнуло в тазу тихонечко. Спирька нагнулся — железина, и не такая уж маленькая, как рентген показывал, с ноготь пальца. Поднял, кровью — слюнями не брезгая, показывает — бурые нити с осколка свисают. Пророс, сволочь, мякотью телесной покрылся, зазубрины видны, как не закашляешь? Крошкой подавишься-вдохнешь и то, а это железо чужеродное.

Никто опомниться не успел, Спирька хватъ председателя за челюсть, как овце рот открыл, порошок зеленый всыпал. Пашков глотнул, глаза выпучил, головой затряс, шарахнулся, но поздно, лекарство проскочило.

Трое суток председатель спал. Проснулся, к жене — «Жрать давай!».

Начал с пол-литровой банки сметаны, потом сало в ход пошло. Ест, давится, урчит, от хлеба и сала по куску зубами рвет. Солёные огурцы мимоходом пролетают.

Жена рот разинула, а когда Пашков прямо из кастрюли стал борщ хлебать, заплакала. Стоит, пригорюнилась, слезами моется.

Пашков, чтобы зря время не терять, кулак показал, молча яишню холодную, от сыновей остаток, к себе двигает. Жена, мол, разогрею? Пашков локтем сковороду заслоняет. Земснарядом в яишню врубился, скулы туда-сюда заходили.

Поел, голодными глазами вокруг пошарил, кусок колбасы со стола умыкнул, на ходу есть стал, а куда пошел? Да спать, куда же, так с колбасой в руке и уснул. И во сне не выпустил, жена отнять пробовала, но он замычал, жена отступилась.

Сыновья-бугаи к Спирьке вечером в дом ломились, угощение принесли, но Спирька не пустил. Извините, гости дорогие, но Мария спит. Договорились, что к Пашковым в воскресенье пойдут на гуся с черносливом, еще и овцу прирежут ради Спиридона — спасителя. Вот как.

Когда у крыльца разговаривали, один из сынов вздрогнул, показалось ему, что лицо незнакомое, чудное в оконце мелькнуло. Спирька его взгляд приметил, разговор быстро прикончил, сыновей за ворота проводил.

Гошу с цепи спустил. Пашковы сыновья, было, опять сунулись, но... Чего «но»? А то, что когда Спирькин кобель не на привязи, кто во двор зайдет? Никто, если не самоубийца, конечно.

На неделе Пашков в районную больницу съездил. Долго вертели председателя перед аппаратом рентгеновским. Главврач пришел, в оттопыренную губу похмыкал, ничего не сказал. Рассказ Пашкова про Спирькино лечение с большим сомнением выслушал, но без улыбки.

Коллегам объяснил, что такое в практике бывает! Самоизлечение — отторжение инородного тела. Но латыни говорил.

Пашков тут же стоял, слушал вежливо, кивал, а как за ворота вышел, то изругался по-черному, кулаком погрозил.

Больничному дворнику на выходе кукиш под нос сунул. И пошел. Дворник хотел погнаться, для него председательский авторитет — тьфу, но раздумал, больно Пашков злой был, мог в загривок поддать.

Порой Пашков задумывался. Чудилось, что вспоминает лицо странное, проявляющееся из тумана смертного, и голос прекрасный слышит, на высокой сверлящей ноте его жить заставляющий... Встанет, лоб наморщит и... Только голова болит, ничего не может вспомнить.

На Спирьку странно глядеть стал. Вроде с уважением-благодарностью, но в глазах испуг детский стынет.

Демид Цыбин рассказ своей жены о чудесном исцелении Пашкова с ужасом выслушал. Сам не мог объяснить, почему это его потрясло. Мимо спирькиного дома с оглядкой ходить стал, крадучись. По окнам взглядом пошарит, и быстрее ногами перебирает. Бинобль сынов достал, часами на окна дома Тереховых пялится. Вот раз...

Смотрел он на угловое окошко, вдруг, из глубины лицо на него незнакомое выплывает. Рот маленький, глаза огромные, волосы распуцены. Ребенок!

Но не это потрясло Демиду, мало ли чей ребенок мог забежать к приветливой Марии. Взгляды их встретились — Демидов и ребячий. Такой ужас источали глаза неведомые, такое всезнание и понятливость, что бросил Демид бинобль, отпрянул от окна, на стул упал. Белыми губами шевелит, горло массирует трясущейся рукой. «Знает! Эта вот... кто там есть-то, знает! Про все знает!».

Ночью с Демидом плохо стало. Мелко-мелко сердце забилось, воздуха не хватает, он слез с кровати, воды попил, на часы отвлекся, и... вдруг затрясло его. Вспомнил Гнида, где видел он глаза эти огромные, неземную тоску источающие.

Так смотрел на него еврейский раввин, когда гнал его Демид провололочной плеткой за забор в калитку, где исчезала голова очереди-змеи. Там начиналась печь.

Застонал, в темноту уставился, в никуда.

В ту же секунду в доме Тереховых закричала Улита. Подхватившиеся со сна Мария и Спирька смотрели на бледное от лунного света лицо ее, дрожали с холоду и страху.

— Там он! Боится, страх его гонит... Он людей убивал, печь дымит... он меня убить... придет убить... все понял... а мне нельзя уходить на болото... я травку у Ягушки пролила... она не простит, весной кикиморушек мало будет, мало! Моя вина. Ой, мамка, не отдавай меня ему, он страшный.

— Кому, доченька, золотко мое ненаглядное? Кому отдавать-то?

— ...нельзя уйти... Ягушка старенькая... травку я пролила, не отдавай меня, Демиду этому... убийца он... у фашистов был! Он людей в печь загонял... вижу, как дымит она, дым черный... дым...

Затихла Улита. Уснула.

Спирька нахмурился, задумался. Вспомнил лицо Улиты, когда она про какого-то «Фогеля» и «оберста» говорила. Жутко Спирьке, если хоть малая доля правды в ее прорицании — это что выходит? Кто ты есть, человек, который с таким удовольствием бьет скотину? А лошади? Почему они от тебя шарахаются?

Утром Мария на работу не вышла. Улита заболела, жар у нее. Ведерко со льдом Спирька принес, так Улита наказала, кусочки льда в тряпочке к вискам прикладывать. Мария велела Спирьке на ферму забежать, Таньке Кривовой записка, мол, подои моих коров, потом я за тебя.

Спирька по улице бегом. Навстречу бригадир Колька Федякин.

— Здорово.

— Чего смурой?

— Спирь, сосед твой дома?

— Демид? — Спирька остановился, — Зачем он тебе?

— Коровенку прирезать. Оставил, елкины, в стойле вилы, черт его знает, как, утром баба доить, а она лежит,

корова-то. Дырки в пузе, и зубья у вил в кровище. Подохнет, так хоть мясо. В прошлом годе овца в Капельке утопла, тут эта. Баба орет — домой не ходи. Так, Спирь, холера-то этот, Демид, у себя на складе может? Или дома?

— Иди назад.

— Сдурел? Подохнет и мясо того, а так...

— Иди. Сам приду через час.

— Резать будешь? — У бригадира глаза на лоб.

— Иди. Подниму корову. Сказал, значит, все.

Бригадир с сомнением вслед Спирьке смотрит, шапку сдвинул, а чем черт не шутит? Ладно, махнул рукой и назад домой.

У Анны Федякиной нос от слез с кулак разнесло. Сидит над коровой на корточках, в три ручья льет. Гладит кормилицу по крутому боку, с ненавистью на мужа оглядывается.

Колька молчит, сопит, бессчетную папиросу смолит. Виноват, чего уж. В жизни всегда Колькин верх, а тут осатанела кроткая Анна. Как увидела дырки в коровьем боку, да кровь на вилах, и понесла! Колька на ее крик утром выполз во двор, накинув полушубок, стоял, сонную одурь из мозгов первой папиросой хотел выгнать, заодно узнать, чего это баба визжит?

От здорового тумака на шаг отлетел. Ногой в миску собачью попал, в скользкое, чуть кость не сломал. Вскочил, чтобы дать ей раза, но еще дальше отлетел от крепкого удара в грудь. К воротам побежал, в калитке выставился на Анну, а та его во всю улицу по-всякому. Еле Колька разобрался, что к чему, сам расстроился, шутка — корова сдохнет! Стоимость, конечно, но где такую еще возьмешь-то? С ее вымени, молока парного детишки вымахали.

Он и пошел, было, посмотреть на корову, но Анна на дороге, в руках дрын. Когда уговорил пропустить, у коровы уж и глаза полуприкрыты, сдыхает.

Увидев Спирьку, Колька с места сорвался. Смотрит умоляюще то на него, то на жену. Спирька их отстранил и в стойло.

Первым делом корове ноздри теплой водой обмыл. Потом оранжевый порошок на большой палец насыпал, и втирать — сначала в одну, потом в другую ноздрю. Через некоторое время корова дернулась всем телом, жалобно замычала.

Анна руками всплеснула, заголосила отчаянно, а Колька от греха к воротам подался, издали выглядывает.

Ранки Спирька водой обмыл, вокруг водкой протер, из кармана баночку с зеленым порошком достал, наскреб на ладонь-ковшик, опять водки на порошок покапал, и давай кашицей дырки замазывать густо. Колька подошел, усмехнулся, мол, чего зря-то? Мясо хоть было бы, а... Анна фыркнула, он трусцой опять уволокся.

— Спиридон! — заискивает Анна. — Потом зелень выковыривать? Гляжу, порошок, травинки в нем. Размолотая, что ли?

— Трава не трава, не твое дело. Молчи. Отзынь.

— Куда ж она денется, впитается нешто? А проболит сколь?

— Завтра в норме будет. Относительно. Но будет.

— Ой, брехать-то! Врешь, чертов Спиридон, где это видано... — и осеклась Анна, на грустный взгляд Спирькин натолкнулась.

Странное дело, раньше никогда не замечала Анна у Спирьки взгляда такого, прямо, можно сказать, мудро смотрит, аж боязно, словно тайну знает.

Анна отвернулась испуганно, на Кольку накинута.

— Умрет голубушка, помойное ведро на голову одену, я те «выбью бубну»! Будешь ты у меня пить-жрать сладко, кобелина долгоносая.

— Расдухарилась! Да я твоего молока сроду не жрал, На что оно мне? Будя брехать, разносилась...

— Водку жрать вы горазды, вот чего! Это я никому не говорила, как вы в правлении «сабангуи» с приезжими справляете. Из району наедут, так вы и горазды.

— Помолчи, что мелешь-то? — Колька беспокойно оглядывается.

— Заелозил, ирод, — Анна подбоченилась. — Инструктора с района были? Двух поросят стрескали, не подавились. Сколь водки выхлебали. Еще в машину натолкали провизии, одного мяса парного с пуд. Ну, гады, ну, растратчики, я на собрании вас тряхну! Ты мне за корову кишятком ходить будешь.

Спирька прочь пошел, не стал слушать, как они ругаются.

А Федякины опомнились, когда он калитку прикрыл. Стали что-то вслед кричать, Спирька отмахнулся.

Вечером.

— С чего ты взял, что он у фашистов служил?

— Ты, Горохов, не выставляйся, следователя из себя не корчь, лучше проверь. В город поедешь и проверь. А я говорю, значит, знаю.

Горохов пристально смотрит, очередную сигарету прикуривает. Спирька устало к стене привалился, к ковру, где олень с оленихой у ручья нарисованы, может, вышиты, не поймешь. Народное творчество, словом.

— Вопрос возникает, Терехов, как ты узнал, и почему молчал до сих пор? Есть статья соответствующая, понял? За укрывательство.

— Отзынь, Горохов. Не пугай ты меня. Как я узнал, со временем и ты узнаешь. Говорю, проверь, в город съезди, или бумагу напиши. Так и так, мол, прошу проверить Демида Цыбина, нашего жителя, на тот случай, что, не служил ли он у фашистов в те времена.

— Темнишь, Терехов, ладно, твое дело. Все равно вызовут, сам все объяснишь. Этим делом не наши органы, а КГБ занимается, понял? Там, Терехов, люди умные. Если в МВД дотошные, тоже мух не ловят, то там сплошь «рентгенологи», насквозь. Меня уверенность твоя удивляет, вот чего.

— Горохов! — Спирька к участковому подался. — Ты попроси его поросенка забить, а? И погляди. Черт с тобой, половину мяса я куплю.

— Катька чего скажет? — Горохов неуверенно.

— Да ты хозяин в дому-то, ай нет?

Долго молчали, не смотрели друг на друга.

— Ты пойми, не могу я сказать, откуда знаю. Уйдет она.

— Кто? — Горохов быстро.

Спихватился Спирька, встревожено на участкового посмотрел и встал.

— Все. Пошел я. Запрос сделай.

— погоди, Мария, с вареньем, слипнется не то. Сиди спокойно. Улит, как тебе объяснить? Берется такая штука-ковина, внутри она пустая, а сзади дырки, из них огонь вылетает. Она на этот огонь опирается и вверх! Летит. Называется «ракета». Внутри ее человека засобачат, он и спит, и ест, и работает, и, короче, все там. Вокруг космос, пустота одна. Летает он, летает, Землю сверху смотрит.

— Тять, а зачем летает-то?

— Ну, осваивает пространство, что видит — докладывает, а ученые люди проверяют, сходится по их расчетам или нет. Так уж люди устроены, Улит, их не корми, а дай неизвестное пощупать. У себя в дому, может, портков не хватает, а первым делом надо соседские портки посмотреть. Любопытно. Оттуда, из космоса, погоду уже предсказывают, и рыбные стада, косяки то есть, высматривают. Человек про природу знать должен, ее тайны открыть.

— Дальше, тять, тайн больше будет.

— Вон в газетах: «Человек проник в тайну океана!».

— Это далеко?

— Порядочно, тысячи километров.

— Тять, ты про нас знал, ну, про кикимор?

— Откуда? И никто не знал.

— А это рядом. Вон, из окошка видать.

Мария посмотрела на мужа и гулко захохотала.

— Ты чего? Ты-то чего? — Спирька недовольно. — Слаще морковки и не видала, туда же.

— Тять, — Улита пытливо смотрит. — Про домовых слышал?

— Брехня. Врут все, никаких домовых нет, присказки это, предрассудки, — хотел еще что-то сказать, Улита его остановила.

Села девчонка прямо на пол, ножки расставила, са-рафанчик одернула, на печь смотрит, быстро-быстро лопочет:

— Путянь, Путянь, а ну-ка встань! Тошка-невеличка, накрошу яичка, дам большую ложку, подсыплю горошка. Путянь, Путянь, а ну-ка встань.

У Марии волосы на голове зашевелились, за сердце взялась.

— Батюшки!

Из-под звякнувшей печной заслонки — мужик, с ко-тенка ростом, но взаправдашний — рубаха, сапоги, боро-да-усы, как положено. Глазки — бусинки на Спирьку с Марией тырк-тырк, и как побежит, к Улите на колени прыг, замурлыкал-запел, слов не разобрать. Кот Фи-лимон и ухом не повел, видно, приятели с этим, как назвать-то?

Рубаха Путяни-домового кушачком подвязана, сапоги блестят, на волосах, под горшок стриженных, шнурок, как у мастерового.

— Тять, дай яичко Путяньке. — Строго Улита Спирь-ке. — Ты, мамка, сиди, он баб не очнь любит.

Мужик закивал, вскарабкался Улите на плечо, оттуда ополоумевшей Марии рожи строит. Тонко улюлюкает, ручками машет. Дразнит.

Спирька яичко очистил, подал Улите, сам не удивля-ется. Привыкать стал.

— Ешь, Путянька, ешь, Ягушке скажу про тебя, она спасибо пришлет. Хорошо дом содержишь.

Мужик яичко быстро слупил, ишь, мал-мал, а жрать горазд. Погладил Улиту по щеке, шепнул на ухо ей и, скорчив на прощанье Марии рожицу, в печь заскочил, опять заслонка звякнула. Где он там обретается — не в огне же?

— Этот-то, — Спирька на печь кивает. — Путянь твой, не сторит?

— Страсть какая! — Мария моргает, но отошла маленько, успокоилась.

— Улит, а как, скажи, человек придумал все это, а? Лампы, телевизор, трактор, ракеты, ну и все остальное.

— Он не придумал, он вспомнил. Когда человек совсем счастлив, станет, он по-настоящему придумывать начнет. Только нас не будет.

— О, едрена-матрена, куда ж вы денетесь?

— Мало человеку места на земле, он нас вытесняет. Скажи, тять, сказки раньше писались... Теперь есть они? Чтобы с волшебством, с превращениями, а начинались так — «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был...».

— Где теперь «царство»? Чего писать-то? — Спирька взвился. — Царя давным-давно скинули, в «царстве»... Про волшебство-это, верно, не пишут. Ну, а сказки, Улит, теперь сказки — книжки фантастические, про миры разные, пришельцев и планеты. Как их завоевывают.

— Под носом у себя не видим! — Мария невпопад бухнула. — Пришельцы какие-то. Откуда они придут, и для чего? Сам говорил, мол, жизни не хватит со звезды на звезду лететь. Лучше бы дороги заасфальтировали, грязюки весной — по ухи самые!

— Тять, Ягушка говорила, раньше в наших местах много птиц и зверья водилось. Болота высушивают, а зачем? Не проще, на свободное, вольное место переселиться? Вокруг всему погибель, ничего путного не выходит. Все равно земля урожай не дает. Сдохнут люди, поздно будет. Только придет время, человек оставшиеся крохи так беречь будет, что и жизни не пожалеет. За каждую букашку, каждого куличка готов будет жизнь отдать.

— За куличка ему Звезду Героя давать?

— Дадут! — Мария на Спирьку грозно. — И дадут, тебя не спросят.

— Чего спрашивать, к тому времени от нас суглинок останется.

Улита песню завела. Слова непонятные, мелодию не запомнишь. Вроде, на русском языке, а слова чудно звучат, словно наоборот. Такая щемящая тоска от нее, не высказать! И светлая одновременно.

Мария одно слово разобрала — «греза». Тут же за Улитой повторила, долго басом вытягивала. Улита в ладошки поплескала и на печь. И притихла.

Горохов через жену передал Цыбину, чтобы пришел поросенка колоть. Перед этим он с Катькой разговор имел. Наврал, что брат из города мяса просит, мол, письмо получил, да потерял. Катька в подробности въелась так, что Горохов «зарапортовался». Ничего умного не придумал, брякнул, что свинина ему нужна по службе. Разругался с Катькой вдрызг, но на своем настоял.

Демид Цыбин пришел в пять. Посидел в кухне, покурил. И в сарай. Горохов внимательно смотрит, как он инструмент свой раскладывает.

Кажется Горохову, не рука это, а лапа грифа. Сжались когти падальной птицы на ручке наборной, не шевелятся. Демид недовольно косится, мол, чего под руку мешаешь? Горохов без внимания.

Связал Демид поросенку ноги, тот визжит. И опять сел Демид. Горохов чуть влево, чтобы лицо видеть — остолбенел! — хищник. Столько страшной, непостижимой злобы в лице соседа, что Горохова холодом обдало. Это на поросенка-то, чтобы так злиться?

Рухнула Демидова рука. Нехорошо Горохову стало. Бормотнул что-то, мол, продолжай, а я пошел. Успел на выходе ухмылку Демиды словить в свою спину, резко обернулся — в глаза Цыбина пыливо и остро посмотрел. И вышел.

А Демид обмер.

Знает. Раньше не знал, точно. Теперь знает. Все, зыркнул, как ровно, из дустволки шмальнул!

Утром Демид осторожно узнал, где Горохов и снова обмер. Нет его. Уехал в город! Говорит, вызвали.

И как-то беспричинно, неизвестно почему, связал в одно целое — холодный, внимательный взгляд Спиридона Терехова, пытливый, острый участкового и чужое страшное лицо. Там... в доме напротив.

Домой веселый пришел.

Дров наколот, печь истопил, воды нанес, а вечером баян достал. Жена и сын от удивления и сказать, что не знают. Молча смотрят, а Демид сел на диван, развернул меха. Так заиграл, что деревенским гармонистам и не снилось. Сережка, сын, ногами от восторга затопал.

— Как, как?

— Зи виль ницт блюмен, унд ницт шоколаден, зи виль ну иммар, иммар виде миц... Во, никак забыл, е-мое! Унд вен их зитце кафе цумеладн....

Засмеялся, баян отложил.

— Бать, ты на войне научился?

— А где ж еще-то.

— Расскажи, как ты фашистов убивал, а?

— Как? Обыкновенно. «Огонь пли!» — ваших нет. Серега, учись, старайся, будешь, как папка.

Демид криво усмехнулся.

...Ночью сон... Сидит он с Иванкой Троцюком, в шашки играют. Проигравший из окна караулки в доходяг стреляет, чтобы в руку. А не попал, ставь ящик пива, убьешь ненароком — три. У «Вальтера» Гниды удивительно мягкий спуск был, он выигрывал чаще. Троцюк Иванка много ему пива задолжал.

Прошел слух, что Тереховы в своем доме ребенка прячут. Будто этот ребенок урод невысшимый, а Спирька его в городе украл. Тешили себя злые языки, свивали небывальщину.

Пробовали бабы к Марии подступиться, она сроду не врала, потому молчит. Зубами поскрипывает, раз не выдержала, одну бабенку ехидную на ледяной дорожке у колодца «нечаянно» задела. Та с полными ведрами загремела, мокра-мокрешенька! Вскочила, хотела кинуться,

но... Что «но»? А с катками асфальтовыми кто связывается? Катит и катит мимо.

Гоша на дворе истошно залился, хрипит, цепью звенит зло. Значит, чужой на дворе. Спирька к окну: мать-честна, Горохов калитку открывает, на кобеля строго смотрит. Еле успел Спиридон Улиту на печь спрятать.

Сел Горохов на лавку.

— Терехов, по тому делу я запрос послал. Пока про это молчок. Я с другим. Тут мне со всех сторон про какого-то ребенка говорят, что укрываешь ты его. Что скажешь?

Спирька ответить не успел, в это время Мария в избу вбежала. Дышит тяжело, запыхалась, видно, издалека участкового увидала.

— Так что? — Горохов спрашивает. — Где у вас ребенок? Чей он?

— Врут! — рывкнула тяжким басом Мария. — Все врут. Нет никого.

Хотела еще что-то сказать, но голос сорвался, пискнула неловко, повернулась к Спирьке — подмигивает. Горохов знак тут же приметил, нахмурился.

— Давайте без шуток. Есть ребенок? Если есть, обязан я знать, как участковый, откуда он, чей, как появился.

— Нет никого! — Мария свое бухает.

Спирька глянул — ужаснулся. Вросла баба в пол, прямо обронзовела, неподвижной горой стынет. Памятник, не баба! «Свай бабой забивают... свай бабой забивают...» — присказка в голове глупая звучит.

Горохов встал с лавки, по избе прошелся. Ненароком на цыпочки привстал, на печь и... «Трах!» — это Мария плечо милицейское на полметра вниз опустила, руку кинула на погон. Не должность — по пояс в землю вбила бы.

«Кэ-эк щас даст ему! — Спирька думает. — Амба! Погибнет при исполнении».

Горохов от возмущения задохнулся, крутнулся на каблуках.

Слетел с печи тулупчик — вот она, Улитушка, девчоночка болотная, кикиморушка ненаглядная. В сшитом Марией сарафанчике, в платке и при бусах, на, смотри.

— Ребенок, — хмыкнул Горохов, за стол сел.

Некоторое время встревожено в Улитины глаза смотрел, сигареты вынул, на стол положил.

— Как тебя зовут, девочка?

— Улитой величают.

Горохову почему-то на нее не смотрится.

— Лет сколько?

— Маленькая я. Семидесятая весна пойдет.

— Ага. — Горохов кашляет. — Семидесятая. Не понял?

— Чего непонятного, мне семьдесят, сеструньке Марфуньке сто.

— «Марфуньке сто», — Горохов в печь тупо пялится. — А где она?

— А там! — Улита на окно, к болоту выходящее, махнула.

— Там Марфунька, а ты тут. Где твой дом, девочка?

— На болоте, где ж. Так живем, без дома, в палатках.

Горохов вспотел.

С Марией неладно. Отказали ноги-столбы, кажется ей, что рушится, корежится мир в страшном разломе, и падают на нее бревенчатые стены родимого дома. Привалилась к Спирьке, дышит трудно.

Горохов ничего не понимает. Тревожат его глаза этой странной девочки. Что это из под сарафана чернеет, багрянки, никак, шерсть?

— Не обижайте их, а не то Ягушке скажу, она на вас сухоту пошлет.

— Кто это, Ягушка? Мать, тетка, сестра? Где дом твой, с той стороны или по эту от Васильковой топи?

— Уйди, постылый, — дико завывла Мария, — не дитя она, не человеческое!

— Как «нечеловеческое»?

Марийн крик Горохова потряс, вскочил, по стойке смирно встал.

Опрокинулась Мария, ударила ногами в стенку, вытягиваться стала на лавке, видно, обморок. Спирька папирасы в горсть зажал, смял в комок, удивленно его рассматривает.

— Так.

Быстрым движением Улита сарафан скинула, платок сдернула, в луч солнышка нарочно, чтобы виднее было, встала. Текут волосы по плечам, солнце шерстку позолотило, глубоким светом глаза нездешние наполнились. Спирька дочкой залюбовался.

Горохов не понял. Предстало пред ним нечто волосатое, неправдоподобное, и до того жуткое, чему и названия не подобрать. Клацнул Горохов зубами, сделался скучным. Передернуло его, как маленьких детей передергивает, когда по нужде просятся. На прямых ногах к выходу пошел. Долго, вместо дверной ручки, гвоздь у умывальника щупал. Пока его Спирька за руку не взял, и опять на лавку не посадил.

— Что это было? — Горохов деловито спрашивает, по избе озираясь.

— Расскажи ему, тять! — С печи голосок. — Он хороший, у него в середке бубенчики.

— Что у меня? — Горохов брови свел, осмысливает.

Спирька отмахнулся, ближе придвинулся и рассказал все, как есть.

И обнаружил, что лейтенант милиции Санька Горохов — хороший мужик. Главное, сказки любит, и верит в них сразу. Согласно своей должности ответственной — прочно верит.

Мария на лавке спала одетая. Улита на печи посащывала. Только Спирька, кот Филимон и Гоша не спали, каждый свою думу думал.

Спирька горевал, чувствуя, что уйдет скоро Улитушка-доченька. Кот переживал ссору с домовым, тот опять ему бока намял за сметану. И чего жалеет придурок хозяйское добро? Сам не гам и коту не дам.

Гоша вспоминал, как прошлой ночью с Улитой играл. Спирька его в избу пустил, то-то потеха была! Гоша

щенком глупым скакал, притворно рычал, через голову кувыркался. Шум был.

День. Все на работе.

Гоша с цепью играет. Прихватит звено толстыми клыками, сожмет и вверх подкинет. Цепь гремит — Гоша доволен. А то разбежится, натянет ее, навалится — едва не рвет, но сдерживается, зачем хозяина в трату вводить. Надоела цепь, стал в снегу валяться. Лапы задрал, спиной по снегу елозит — ох, благодать собачья. Язык на сторону вывалил, жара!

Хозяйство — дело привычное, главное, должен от врагов охранять то невыразимо ласковое существо, что недавно в доме поселилось.

Шаркнуло рядом! Гоша на ногах, клыки наготове. А-а! Пустяк это, Филимон на заборе сидит, хвост свесил, на Гошу нахально щурится.

Обтяпал дела свои кошачьи, теперь, подлец, домой пришел, молоко лакать, искры с шерсти пускать, мурлыкать подхалимски. Хвостом-то наяривает! У, тунеядец, пользы никакой, а вот, поди, больше Гоши-работяги холи-неги видит. Нежат его, скоро мышей ловить перестанет.

Гоша с котом в дружбе. Иногда Филимон в его конуре спит — это во время странности хозяйской, когда приходит Спирьке мысль и время на крышу забираться. Но волкодавское достоинство Гоша перед котом не уронит, ни-ни, что не так — на забор, облает свирепю, дескать, смотри подлец, знай место кошачье.

Филимон спрыгнул мягко, рядом сел. Промурлыкал нечто вроде приветствия, и лапой, подушечкой мягкой Гошу по носу. Играть приглашает, по снегу прыгать. Волкодав и ухом не повел.

Черта тебе, нашлался по деревне, напелся с подружками, теперь играть? Гляди, ухо подлецу порвал кто-то. Понюхал Гоша рану, так и есть, председателев кот, бандюга рыжий, ну, ничего, уж тебя Гоша в проулке приложит. Он тебя скрадет, пух по ветру пустит.

С этой парой в деревне не связывались. Вместе выросли, из одного рожка молоко дудолили. Коварный Филимон часто своих врагов на Гошу выводил, тот терпеливо в засаде дожидался. Разлетится какой-нибудь Шарик — Жучка — Бобик за котом, заливаётся упоенно, а вот, мол, я тебя, а вот? И на всех парах к засаде, а там...

Вместо Филимона, кота изнеженного, Гошина пасть крокодилья. Остается от обидчика комок ужаса и одно подобострастие. Отпустить Гоша отпустит, но выволочка изрядная будет. И кот раз волкодава выручил.

Геологи приехали, на постой стали. У одного пес — здоровый кобель сенбернар. Умудрился он сбежать, и давай деревенских собак гонять, они с воем врассыпную, ну, Гоша тут, как тут! А приезжий его и подмял, беда! Только по-серьезному до горла Гошиного, а Филимон на загрибок чужаку запрыгнул и давай драть. И выдрал сходу глаз дорогому псу, а Гоша ногу прокусил.

Еле отбили геологи своего любимца. Пришли, было, к Спирьке, а тот их на двор не пустил. Гошу с Филимоном в избе запер, сам, вроде случайно, ружьишко на плечо повесил. Поорали геологи, поскандалили и ушли ни с чем.

Гоша грудью на снег распластался, слушает. И Филимон замер. Чуют — чужой за домом, и не просто, злонамеренный — это Зло они ясно в воздухе ощущают. Переговариваются:

— Что там, Гош? — кот ухом дрогнул.

— Сволочь какая-то доски у забора трогает! — и пес ухом.

— Знакомый?

— За щенка считаешь? Из деревни, не чужой.

— Сходить? У тебя цепь не достанет.

— Сиди. Без сопливых. Трепану не то за шкуру сытую! Страшный он, Филя, смертью пахнет.

— Схожу, я осторожно, — кот крадучись к углу дома.

Гоша смотрит. Вдруг, стекло зазвснело. Что это? Это чужой стекло выдавил в боковушке.

— Гав-гав! Крррраул! В дом лезут!

— Рррмяу! — из-за угла Филимон вылетает, спина дугой, глаза безумные. — Гоша, ррррмяу-у-у, грабю-ю-ут!

Разбег. Захрипел громадный Гоша, ударом цепи натянутой сбитый на снег. Еще, еще! Кровью алой клыки крашены, но словно хрустнуло в одном из звеньев.

Разбег!

Покатился волкодав по снегу, оскаленной пастью крошева холодного хватанул и на ноги. Распластался в неистовом беге, рвет когтями наст, аж визг от когтей крепких. Кот за ним.

Ударил в нос запах кислый, страшный. Разбираться некогда, надо воевать. Но до чего запах знакомый!

Только когда отвалил от окна тяжелое тело, наполовину в дом просунутое, узнал — Цыбин, сосед! От него всегда смертью пахло, а тут сладко-страшный дух прямо рест и в морозный воздух взвивается.

Покатились по снегу. Гоша плоть с рук вместе с телогрейкой рвет, до глотки добирается, ему не впервой волков валить, он свой маневр крепко усвоил. А Демид по горячке голыми кулаками отбивается, кровь увидел — выверился. Тоже зубами стал рвать, ногтями драть, про нож в кармане не сразу вспомнил.

Заблажил Филимон на весь белый свет, когда Демид тяжело раненного Гошу ногой пнул, голову поднял и на кота глянул, нож в руке перехватил.

Свистнуло окровавленное лезвие, на пол-ладони в доски впилось, но кот и не пошевелился. Еще громче взвыл, диким мявом. Оглянулся Демид Цыбин, в пролом забора втиснулся, скользнул змеей.

И никто не видел, как несколькими минутами раньше, из окна на противоположной стороне дома Улита прыгнула. Ключья ваты оконной на плечах унесла.

Огородами, в сторону болота, по снежным холмам торопится. Только следок крохотный в затейливую цепочку свернулся, пропетлял и пропал у края болота, где Васильковая топь начинается. Между заснеженных кочек, кустов оледенелых — сгинул.

Через полчаса той же дорогой Демид Цыбин ушел. Одет тепло, за спиной рюкзак, на плече ружье. Котелок у пояса, топор, нож, все, как положено. Оглянулся на деревню, нехорошо скривился, плюнул и скоро затерялся в болотном мареве.

Спирька Гошу в избу занес, остаток оранжевого порошка на пса весь извел. Одно дело, когда «курносая» рядом приплясывает, пугает да холод нагоняет, мол, помни-помни! Другое дело, когда на работе она, косою намахивает. Тут уж не попадайся деловитой, тут она без намеков, как есть, исправлять нечего.

Горохов у разбитого окна стоит, папиросу тянет.

— Поверил, Сань, что он у фашистов служил?

— Завтра обещались из города быть, — Горохов отвечает. — А он успел. Часа три назад его продавщица видела. С ружьем, при рюкзаке. Так-то вот, Терехов, но найдут, ох найдут.

Участковый по подоконнику стукнул, от впившегося в кулак осколка стекла скривился, осторожно вытанил.

— Замерзнет она. — Мария пусто перед собой глядит.

— погоди, — Спирька жене ласково. — погоди, Мария, раньше как обходилась? К своим выйдет, а там... — он неопределенно махнул рукой.

— Снег вроде?

— Точно, ах, мать-честна, едрена-матрена. Гошу убил! Ну-ка, он ее нагонит, там-то?

Горохов отрицательно покачал головой.

— Она дома, ему ее не догнать.

— Улитку найдите.

Мария спокойно говорит. У самой слезы по щекам, лицо мертвое, нехорошее лицо, Спирька даже вспотел — никогда жену такой не видел.

— Найдите, мужики, без нее жизни нет.

Домовой Путяня из-за мусорного ведра смотрел, коту знаки подавал. Филимон на Гошино неподвижное тело глазами повел, мол, чего ты, балбес, не видишь? Горе у нас.

Путяня сокрушенно поморгал, ручонкой махнул — пойдут. Прежде, чем скрыться, мышь полудохлую за хвост выволок из норки, угощение для кота.

Трещат прутья. Береста в огненные кольца свивается, звонко щелкает. Угли под ней таинственно светятся. Горит огонь крохотный, в шалаше тени мечутся.

— Как ты, глупая, к людям убрела? Для чего?

Бьется красный отблеск на лице. Кривой нос с подбородком клещами сходится, из-под бровей кустистых глаза маленькие, до того светлые! — капли родниковые. Словно застыло в них навек жаркое майское солнце. Гнет горб Ягушку вниз, не дает разогнуться. Руки костлявые, на вид — грубые, а тронь — пух, мягкие, теплые, заботливые.

— Глупая моя! Да, с кем ни случись-то, а? Оказия твоя нечаянная, ох-ох-ох! Так, ай, нет, чего молчишь, кулема?

Улита в ее коленях слезами заливается.

— Ты, Улитка, вон с того ведерка тряпицу скинь, да смотри, не урони, как давеча! Не наделай бед-то, не то хворостиной вдругорядь настигну.

Сняла Улита тряпицу с ведерка и... Кинулась на шею к Ягушке.

— Бабанька, наварила, родненькая. Ой, бабанька!

— Нешто тебя ждать. Шлендаешь, где ни то, шлендаешь. Подружки твои спят у себя в гнездышках, одна ты по людям тревожишься. Ничего, девонька, придет весна, покропим мы с тобой с ведерка Травкиным настоем на кувшинки, распустятся они, закачаются под ветром, а в нужный час и выйдут с них кикиморушки, ан, нас опять много!

— Бабанька, а и где ты травку-то взяла, а? Мы ж всю запарили.

— «Где»? К сеструньке на Самохинские болота послала. Лешенька сходил, поворчал, а все ж таки сходил. Нетопырь совсем ополоумел, слышь? Клюку мою уволок, ступу чуть не разбил. Над городом летать удумал, ну,

бес, ну, паралич его изломай! Уж я смеялась, как мне Лешенька газетку «Труд» подсунул. Ой, не могу, Улитка! Они там про «НЛО» какое-то удумали... Мол, с космоса это. Ну, я его, Нетопыря, потом ругала-корила! Ничего, девонька, ничего. Станем скоро по ягоды ходить, песни петь, плясать, да? А от людей беда. По неразумению мир в великую трату вгоняют. Чего не поймут, на то кидаются, портить норвят. Нет, чтоб поверить, есть и все. Пощупать, разобрать стараются, а для того голову иметь надо. Сук-то для чего под собой рубить? Ин, реки вспять удумали повернуть? Потом что? Не сей момент, а через двести лет, через триста? Это ж мор великий настанет. Не пришел, нет, не пришел срок с ними «Мудрой книгой» делиться.

— Бабанька, у них своя есть, «Красная книга» называется.

— Вот я тебя, срамница! Не моги слово мерзопакостное говорить. Ее надо «Поминальной» звать. Тьфу, это мыслимо ли? В заслугу себе такую пакость сотворить. Уничтожить сперва, потом пересчет уничтоженному вести. Да за одну ее можно... Не хочу говорить, и ты не тревожь меня. Слышь, девонька, Демид-убивец сюда бредет.

— Страшно мне, бабанька, ой, боюсь его!

— Не голоси! Наперерез, навстречу ему пойду. Лешеньку возьму, он штуковать горазд. Пусть промнется, а то все бока отлежал. И слушай, чего скажу тебе. Случай что, так ты из болота народец выводи, поняла? К дальней моей сеструньке, она добрая, мы с ней, как два яичка от одной курочки.

— Бабанька, не ходи, боюсь я.

— Цыть, куга зеленая! Дай молвлю. Здесь без меня не живите, вас людишки потравят, недаром геологи тут ковырялись, чую: примутся они за вас. А Мария твоя родит, я в «Книге» видала. Хорошую девочку родит, а назовут по тебе, Улитюю. Пойду я, еще Лешеньку будить надо.

Ягушка остановилась, раздумывая.

— А и то, Нетопыря-ирода возьму, пусть у Демида-убийца перед глазами поскачет, а то скучно ему, а? Но охальник, каторжная сила, Нетопырь-то.

— Не усну я, бабанька, тебя ждать буду.

— А и жди. Приду, мы отвару попьем, продрогну по холоду.

Снег густо валит. Руку вытяни — ее не видать.

Демид в пелену снега вглядывается — нет тропы. Замаячило что-то впереди. Демид с плеча ружье дернул, курками щелк-щелк. Вдруг, виски заломило, спасу нет, Демид остановился, головой трясет, трудно вперед всматривается.

«Направо... направо! — в мозгу четко так. Демид удивленно к себе прислушивается — это еще что?»

Словно командует им кто. Ну, направо — так направо, может, и есть он, болотный бог-куличек, укажет дорогу правильную, но Демид и сам не промах, здешние места хорошо высмотрел.

Впереди огни замерцали. Не «человеческий огонь», знает Демид, это газ светится. И зимой кое-где не мерзнет проклятое болото. В таком огне холод, тепла в нем не бывает, одна видимость.

— Иди, Демид-убийца, иди. Куда ни свернешь, а все равно тебе гибель выйдет. Будя, потоптал землю-матушку, натерпелась она от тебя кровавого.

В самой середке головы голос возник. Встал Демид и замер, в кочку врос замерзшую. Слушает.

— Куда не пойдешь, никуда не придешь. Вокруг человеки, а ты хуже слизняка, мокрицы гаже! Одно слово — гнида.

«С ума схожу!» — похолодел Демид.

— Угу, угу! Гад, гад, гад, жаба-жаба!

Прямо перед ним мерзкая рожа из снега выставилась. Вытаивает из пелены, отчетливее делается — лоб тыквой, один глаз маленький углем горит, другой большой и тусклый вбок светит, косо белком наружу лезет. Рот кривой, из него язык раздвоенный шевелится. А вместо шеи клубок щупалец, противная слизь по ним катится.

Демид, не целясь, по мерзкому с двух стволов «Трах!».

Разнесла волчья дробь оборотня вдребезги. Залопотало эхо, унеслось вскачь по болоту, ан, глядь! Вместо него гриб-поганка на ноге качается, а под грибом труп. Пухнет тело, на глазах зеленеет, руки ноги во все стороны тянутся, а концы пальцев крючьями гнутся.

Закричал Демид, глаза зажмурил, упал на колени. Открыл глаза, а гриба нет. Стон долгий в воздухе повис. Призрачно, тихо стало.

Сидит на кочке гадкий старичок. Одно ухо большое, другое маленькое, в капустный лист свернуто. Стекает с губ улыбка липкая.

— Демид, а ты хуже меня, я детишек пугаю, людей по болоту вожу-морочу, а ты убивец. Ты в безоружных и больных стрелял, в печь их заталкивал.

Голос у проклятого визгливый, растет, выше и выше, до писка забирается.

— Нетопырь я, Демид-убивец, мне приказано поиграть с тобой, а я брезгаю. Тьфу, на тебя, тьфу! Надо бы к Горынычу тебя отвести, он бедный давно людишек не ел — не жарил. И не станет он тебя жарить, проклятого, в тебе плоти нет, в тебе слизь сидит. Тьфу, на тебя!

Сгинул старичок, Демид едва не задохнулся от омерзения — течет по лицу нечто зеленое, липкое, тягучее, а запах такой, что с ног валит. Плюется болото чертово.

Бред — не бред? Худо. Тошно. Пакостно.

И пропал снег. Чисто вокруг, далеко видно. Шорох сзади, Демид на коленях стоит, обернуться боится. Но краем глаза все же подсмотрел...

Двое стоят — старуха древняя в лохмотьях, нос крючком, ну, вылитая Яга, каких в книжках рисуют. И мужик с ней в тулупе, глаза дурашливые, борода лицо закрыла, во все стороны волос торчит, из-под шапки космы путанные, нос красной картошкой.

Молча на Демида смотрят.

— Бабанька, — мужик волосатый старой говорит, на Демида пальцем грязным показывает, — не стрельнет он? Гляди, ружо! Боюсь.

— Не, Лешенька, ему его зарядить надо, он на Нетопыря заряд истратил.

— Боюсь, бабанька, а как даст! Пойдем от яво, бежим!

— Вот и все, Демид-убивец, — устало старуха говорит, на клюку подбородок оперла, голова от старости трясется, — прощенья тебе нетути. Ты и сам знаешь.

Демид лихорадочно патронташ расстегивает, патрон нашарил, другой...

— Бежим, бабанька! — мужик забеспокоился, с Демидовых рук глаз не сводит, — а ну стрельнет. Говорю, ружо у яво! Ой, боюсь!

— И то, — старуха взмахнула платком, повела рукой — оба пропали, один снег остался, взвился легко облачком, оседает.

— Гады! — Демид наугад из ружья шарах!

Ахнуло болото. Долгий стон в тишине после выстрела раздался.

Сразу крик истошный:

— Говорил, ружо-о-о!

И стала ночь. Светят сверху колючие звезды, ничего не высвечивают, хоть и по площадке каждая. Зарница играет далеко-далеко, молнии ее пересекают бесшумные. Страшно.

Вскочил Демид, бросил ружье, рюкзак, рукавицу потерял, и бежать.

Ох, не проста все это! Настигнут — убьют за каргу эту, вроде как она застонала, а волчья дробь — штука страшная.

Бежать!

Скользнули у Демида ноги, бросило его вбок, по пояс в трясине оказался. Тянет Демид руки, пальцами за кочки цепляется, они «с мясом» отлетают, он их в стороны разбрасывает, быстро вокруг себя все выполол.

Чах, чах — это болото его изрядно всосало. Дергается Демид, никак — ни туда ни сюда — смерть пришла. В небо налитые кровяной мутью глаза выставил, визжит

ЦВЕТЫ НА БОЛОТЕ

тонко, холода от воды не чувствует, ужас виски разламывает.

Борется Демид за жизнь, корягу большую нащупал, уцепился и подтягивается, наконец, воздуха вволю глотнул.

Тут, откуда ни возьмись, громадная ворона на кочку по соседству села, клювом перо из-под крыла выдрала, и глазами прямо в его душу заглядывает... Заорала, а вместо вороньего карканья — жуткое слово «крематоррий» вышло!

У Демида жила в голове и лопнула.

Булькнуло, большой пузырь вспух, тяжелый дух пошел — это Демидова душа гнилая не наверх, а в стороны растеклась. Только и всплыло — бумажка рублевая из телогрейки, да клок бумаги папиросной.

Зажимала Ягушка рану горячую, текла кровь на снег струйкой медленной, корку наста снежного подтаивала.

Умирала старая хранительница здешних мест, надолго ли ее ворожбы людям хватит? Чтоб скот был здоров, урожай хороший, да и хворости чтоб людишек не одолевали. Видела в смертном прорицании, что пока болота не осушат, отсюда птицы-звери не уйдут, значит, жизнь малая теплиться будет.

Не на много вперед видела, на несколько лет, дальше видеть не могла, дальше только Вечное знает.

Лешенька на кочке сидит, съежился, плачет? А что делать, всему свой срок, все отцветает, она и так лишних лет пятьсот прожила. Теперь уйдут кикиморушки. Нетопырь с тоски на осине повесится. За кем ему будет подглядывать на купанье, чьи песни по ночам слушать будет?

Все уходит в небытие.

Жизнь вечна, пока она жизнь. Нет жизни — ничего нет, и небытия нет.

Полгода прошло. Тепло — лето наступило.

Спирька с Марией у края болота стоят.

Только-только вспоминали, как в село представитель «органов» приезжал, про Демида-Гниду рассказывал, фотографии давал смотреть – жуть и оторопь.

Жена и сын Демидовы давно уехали. Надо же, у такой мрази пацан хороший вышел. Ну, дети за отцов не отвечают, прошли времена укромные, когда семьей лес валить ехали.

– Смотри, Мария! – Спирька на болото показывает.

Плывут по болоту огни. Прямо цветы распускаются, тают, и вновь из темноты завязываются, хитрые кольца вьют, манят, переливаются узорами затейливыми.

– Улитунка знак подает!

– Пришла бы, если что, сама пришла бы, тятюку с мамкой проведать. Ты не замерзла? Простудишь пузо-то, смотри, едрена-матрена!

– Сон видела, Улита в окно голову просунула, волосы копенкой, и говорит, ты, мамка, рожай ребятенка, здоровенький будет, живенький! Верить?

– Отзынь, дура-баба, кому тебе говорю. Ты не смей, она знает, поняла? Эк, тебя разнесло-то, бомба, не на двойню?

– Ой, дурак ты у меня, Спирька! – Мария ласково к мужу льнет.

Никто не знал, да и не мог знать, что не огни-цветы по болоту плывут.

Это кикиморушки берестяные факелы жгут, туеса ягодным соком наливают из бочек-кладовых, давно заготовленных. Песни поют над могилой старой Ягушки, прощаются.

Леший дорогу выведаль, туда-сюда сгонял. Дорога – дело важное, не в одиночку с родных мест срываются, а все. Надо тайно идти, на глаза людям не попадаться. Нетопырь притих, помогает, в торбочки из коры припасы на дорогу укладывает.

Далеко Плошихинские болота. Знаете где? И не надо. Сели перед дорогой, огляделись.

Началось Великое переселение.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Журавлёвка (Роман)</i>	3
<i>Цветы на болоте (Повесть)</i>	157

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР БАГРАМОВ

ЖУРАВЛЁВКА

Роман

ЦВЕТЫ НА БОЛОТЕ

Повесть

Редактор *И. Рахимова*

Художник *В. Валиев*

Художественный редактор *К. Васихова*

Технический редактор *Д. Габдрахманова*

Младший редактор *Д. Холматова*

Корректор *В. Исаева*

Компьютерная верстка *Ф. Тугушева*

Издательская лицензия AL № 158, 14.08.09.

Подписано в печать 1 апреля 2014 года.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага «Газетная пухлая». Печать офсетная.

Гарнитура «Virtec Peterburg Uz».

Условно-печатных листов 11,34. Учетно-издательских листов 10,32.

Тираж 2000 экз. Заказ № 13-298.

Издательско-полиграфический творческий дом «Узбекистан»

Узбекского агентства по печати и информации.

100129, Ташкент, ул. Навои, 30

Телефон: (371) 244-87-55, 244-87-20

Факс: (371) 244-37-81, 244-38-10.

e-mail: uzbekistan@iptd-uzbekistan.uz

www.iptd-uzbekistan.uz



«УЗБЕКИСТАН»

ISBN 978-9943-28-010-6



9 789943 280106